

В. А. Еремин
УЛИЦА-
ПОДРОСТОК-
ВОСПИТАТЕЛЬ



В.А. Ерёмин

Улица -
подросток -
воспитатель

МОСКВА
«ПРОСВЕЩЕНИЕ»
1991

ББК 74.200.58
Е70

Ерёмин В. А.

Е 70 **Улица – подросток – воспитатель.** – М.: Просвещение, 1991.– 160 с. –ISBN 5-09-003067-7.

Автор – журналист, руководитель организации «трудных» подростков «Гринабель» в г. Павлодаре, существовавшей в 60-е годы. Будучи подростком, он сам попал в разряд «трудных», был осуждён, но досрочно освобождён и сразу же направлен на работу с подростками.

Последовательно, шаг за шагом, рассказывает автор о своём падении, через личный опыт пытаюсь проникнуть в психологию превращения ребят в «трудных», затем о своём возрождении – стремлении стать полноценным человеком и, наконец, о самом главном, ради чего написана эта книга, – о своей борьбе за «трудных» ребят. Автор идёт по пути вовлечения подростков в борьбу за спасение таких же, казалось бы, потерянных для общества ребят, в борьбу за изменение окружающей жизни.

Для учителей, родителей, воспитателей и организаторов внешкольной работы.

Е $\frac{4306010000-586}{103(03)-91}$

ББК 74.200.5S

ISBN 5-09-003067-7

© Ерёмин В. А., 1991

ОТ ИЗДАТЕЛЬСТВА

Подросток и... улица. Сочетание этих слов стало для нас почти синонимом преступности. И в самом деле, кого притягивает к себе улица? Как правило, неприкаянных ребят, отчуждённых от семьи, школы, досуговых учреждений, лишённых духовных потребностей и представлений о морали и нравственности, поскольку они обделены элементарным человеческим теплом.

Такие ребята были всегда. Однако яростный всплеск всевозможных подростковых группировок, захлестнувший нас в последние годы, застал общество врасплох. Хотя ни для кого уже не секрет, что именно само общество своим развитием привело подрастающее поколение к тупику, к потере веры в идеалы и нравственные представления.

Естественно, что решить подростковые проблемы без коренного обновления общества невозможно, и процесс этот длительный. И всё-таки и сейчас, уже в рамках сегодняшней борьбы за обновлённое общество, учителя, воспитатели, родители должны вести осмысленную борьбу за своих детей – за будущее страны.

Предлагаемая читателю книга – исповедь бывшего «трудного», а затем воспитателя – это воспоминания почти 30-летней давности. «Но, – скажет читатель, – тогда и дети, и проблемы были другие». И так и не так. Потому что корни сегодняшних проблем во вчерашнем дне, потому что зёрна этих проблем были возвращены тем же формализмом и двоедушием, которое преследует нас и сегодня.

Чем особенно привлекательна исповедь автора? Проникновением через себя в психологию уличных подростков, глубоким пониманием структуры и иерархии уличного мира, её «субкультуры». И самое главное – анализом собственного опыта работы с «трудными», основанным не на разрушении уличного мира (в этом мы уже достаточно преуспели), а на выведении подростковой группировки из подворотни, на преобразовании её в морально здоровый коллектив.



С чего всё началось? И почему всё это со мной произошло? Я много думал над этим во время долгих шести месяцев побега и все годы заключения. Нелегко было разобраться. Не было в моей жизни явных причин стать преступником. Но когда я пытаюсь понять, с чего всё началось, я невольно возвращаюсь мыслями к последнему дню учёбы в школе как отправной точке для размышлений о моей так неудачно начавшейся жизни.

* * *

Мне никто не показывал протокол того майского педсовета. Но я хорошо представляю, о чём там шла речь. Первым слово взял, конечно, наш математик Иван Андреевич Дик.

– Математических способностей у Ерёмина, разумеется, нет. Но учиться на твёрдые тройки он мог бы. Мог бы, но не хочет. Он своеобразный рекордсмен школы по пропускам занятий. Я дважды предлагал ему заниматься после уроков, но он не удостоил меня такой чести. Отказался и от помощи отличника Голосова. Я работаю в школе не первый год. Но впервые сталкиваюсь с учеником, который проявляет такую безответственность к своей будущности. Что происходит с Ерёминым? Может, дома нет условий для занятий? Нет, семья живёт рядом со школой, в благоустроенной квартире. Может быть, родители какие-нибудь... с несерьёзным отношением к жизни, к детям? Нет, отец – инженер, мать по профессии учительница начальных классов. Может, сын предоставлен самому себе? Нет, мать сейчас домохозяйка, а отец, насколько мне известно, строго контролирует учёбу сына. То есть я пытаюсь найти причины такого отношения к учёбе и не нахожу ни одной. Семья здесь, по-моему, ни при чём. Тогда, может быть,

виновата школа? Школа у нас лучшая в городе. Это общепризнанный факт. Класс, в котором учится Ерёмин, лучший в школе. Это тоже факт. Но, может быть, Ерёмин отдалился от школы, связался с уличной шпаной и по этой причине охладил к учёбе? Нет, у нас масса кружков и секций. Ерёмин целыми вечерами пропадает в спортивном зале. Играет в баскетбол и в волейбол, в шахматы. Физруки его хвалят. А может быть, мы не вовлекли его в общественную жизнь? Нет, и здесь всё в порядке. Ерёмин – редактор классной стенгазеты. Участвует в оформлении общешкольной газеты.

– Знания у Ерёмина таковы, что мне ничего не остаётся, как поставить ему по алгебре, геометрии и тригонометрии годовые двойки.

Иван Андреевич по скромности не добавил, что Ерёмин учился у лучшего в городе учителя математики. И это тоже был общепризнанный факт. Ещё он вполне мог бы сказать, что школой руководит лучший в городе директор. И это тоже не было бы преувеличением. Тем более было непонятно, как мог появиться такой ученик, как я.

Химичка и физик, я знаю, не стали закатывать такие речуги. Они просто присоединились к выводу Дика. Нам, мол, тоже ничего не остаётся, как поставить Ерёмину двойки.

Итак, пять «гусей». Этого вполне достаточно, чтобы оставить разгильдяя на второй год. Но неизбежной была ещё одна, шестая двойка. По поведению. И тут не могла не взять слово наша классная – Маргарита Васильевна, по прозвищу Марго.

Вместе с историком и физруком она придерживалась мнения, что я в общем-то не безнадёжный шалопай и что мозги у меня в порядке. Да, были три дисциплины, по которым у меня стояли четвёрки и даже пятёрка. Литература, история и физкультура. И этот факт задевал за живое других учителей. Подводил их к мысли, что они не помогли мне раскрыть какие-то скрытые способности.

Зря они меня корили. Я и литературу с историей никогда не учил. Отвечал более-менее сносно, потому что с интересом слушал в классе объяснения учителей. И потому ещё, что почитывал художественную литературу. Уроки физкультуры тоже терпеть не мог. Всё, что требовалось по программе, было не для меня. Я всегда находил какую-нибудь причину, чтобы не заниматься вместе со всеми. Чувствовал себя в своей тарелке только тогда, когда начинал играть в баскетбол или в волейбол.

В общем, можно предположить, что сказала на том педсовете наша Марго.

– Назвать Ерёмину тупицей нельзя. Просто у парня нет интереса к точным наукам. Тут явная недоработка моих уважаемых коллег. Я думаю, они не будут со мной спорить. И коли здесь наша общая вина, то нет и морального права осложнять парню дальнейшую жизнь. Представьте себе: весь класс, где хватает других разгильдяев, получает аттестаты, а Ерёмин... Учиться второй год в десятом классе он не будет. Пойдёт в вечернюю школу. И наивно думать, что он там доберёт знания, которые недодали ему мы. Я предлагаю поставить Ерёмину вместо двоек тройки и строго предупредить, чтобы он как следует подготовился к выпускным экзаменам.

То, что предлагала Марго (а она, как мне говорили, действительно это предлагала), было банальной педагогической сделкой. Зная характер учителей, я допускаю, что физик и химичка были не против. Мог заартачиться только Дик. Вероятно, он вспомнил, как я вёл себя на его уроках. Дик слишком любил математику, чтобы простить мне такое поведение. Кроме того, он вообще был цельным человеком. Никто не знал за ним никаких компромиссов или сделок с совестью. Ну а коли Дик стоял на своём, то и физик с химичкой не пошли на поводу у Марго. На ту или иную чашу весов мог надавить, конечно, директор Новокшанов. Но не зря и директор считался самым лучшим в городе. С одной стороны, он не захотел конфликтовать с Диком. С другой, не боялся испортить отчётность.

Так в двадцатых числах мая я узнал, что меня оставили на второй год. Первое, что я испытал, это острое чувство страха. Узнает мать – грандиозный скандал. Узнает отец – большой мордобой. Но страшнее другое – немедленный домашний арест на неопределённо долгий срок. Никакой улицы. Никаких друзей. Домашняя тюрьма. Постоянные упрёки матери и грозное молчание отца.

* * *

Я не знал куда деваться. Обычно я целыми вечерами пропадал в школьном спортзале. Теперь появиться там было неловко. И домой идти не хотелось. Тогда я решил навестить Толю Логвиновского.

Был у нас во дворе демобилизованный морячок Лёша. Ростом под два метра, но добродушное создание. Все ровесники его после армии пережились. А Лёша стеснялся

девушек. И чтобы чем-то занять себя в свободное время, предложил себя нам, пацанам, в качестве тренера по самбо и джиу-джитсу. Служил он на Дальнем Востоке, и все эти премудрости привёз оттуда. Сначала мы занимались в школьном спортзале. А когда нас оттуда попросили, Лёша договорился с директором соседнего общежития. Нам дали списанные матрацы. Мы перенесли эти матрацы в подвал одного из пятиэтажных домов, навели там кое-какой порядок. И Лёша часами швырял нас, как котят. Единственный, кто мог оказать ему хоть какое-то сопротивление, был Толя Логвиновский. Однажды он долго не давался Лёше. Тот неожиданно разозлился, начал бороться в полную силу. В пылу борьбы взял Толю на болевой приём и сломал ему ногу.

Толя отлежал положенное время в больнице и теперь долёживал дома. Я смотрел на него с завистью. Двоек у Толи было не меньше, чем у меня. Но вопрос о том, чтобы оставить его на второй год, даже не ставился.

– Плюй на всё и береги здоровье,– улыбнулся Толя.

Он мог строить из себя оптимиста. Его родители работали где-то на Дальнем Севере. Отец – начальником колонии, мать – в санчасти. Домой они приезжали раз в год. «Мне бы таких предков»,– думалось мне.

Наверное, Толины родители понимали, что ничего дурного к их сыну не пристанет. Бывают такие ребята, не раз встречал. Потому и спокойно предоставляли его самому себе. Ну а успеваемость... Что успеваемость? У каждого котелок начинает варить в своё время. Родители терпеливо ждали. И дождались. Спустя много лет я встречал Толю. Он стал солидным мужчиной с солидной должностью. Работал на том же Дальнем Севере начальником строительно-монтажного управления.

– Не переживай,– повторил Толя.

Он догадывался, какая взбучка меня ожидает от отца. Он один знал, что я уже уходил из дому. Своими глазами видел, как это произошло.

Мы, несколько парней, собрались на танцы. И мне, естественно, захотелось выпендриться. Я надел новое отцовское пальто с модным шалевым воротником. Надеялся, что отец ляжет спать и не хватится. Но отец, видно, бросил ненароком взгляд на вешалку. Короче говоря, едва наша куча вышла из квартиры, послышался голос отца.

– А ну, вернись!

Я сделал вид, что не расслышал. Мы вышли из подъезда. Отец за мной не пошёл. Как потом я понял, он наскоро

одевался. Я снова услышал его голос, когда мы порядочно отошли от дома.

– Я что тебе сказал? Вернись!

Улица была без фонарей. И я решил, что можно оторваться от преследователя, стоит только прибавить шагу. Мы так и сделали. Но отец не отставал. Он бросился бежать за мной. Ему было всего сорок пять лет. Он догонял меня и кричал.

– Стой, тебе говорят!

В его словах не было ничего страшного. Но я-то знал, какая злость его разбирает. Ещё можно было остановиться, превратить всё в шутку, сказать что-нибудь вроде: «Ну ты, батя, даёшь! Так бегать!» Но я-то знал, что так просто отец не угомонится. Будет молотить кулаками, и глаза станут белыми от злости. (В гневе он не помнил себя. Однажды, когда мне было лет десять, он так отделал меня, что пришлось прикладывать к лицу сырое мясо. Но и это испытанное средство не помогло. Лицо было сплошь чёрным.)

Вот почему я скинул на бегу пальто и побежал дальше. А отец, подняв пальто, кричал мне вслед задыхающимся голосом:

– Ну, погоди, тварь, придёшь домой! Ну, погоди!

– Что он, взбесился? Куда бы его пальто делось? – спрашивали парни.

Я не отвечал. Меня всего выворачивало от позора и злости. В самом деле, неужели что-то случится с этим паршивым пальто, если я схожу в нём на танцы? И только спустя время я понял отца. Тогда мало было фонарей на улицах и мало было хорошей одежды. И потому часто раздевали. А возвращались мы с танцев поздно. А помимо меня в семье было ещё двое детей. А мать не работала, потому что детских садов почти не было. Отец кормил семью один. И можно представить, что значила для него эта редкая обновка – модное пальто с шалевым воротником.

Что было делать? До клуба оставалось не меньше десяти кварталов. А мороз стоял не меньше двадцати градусов.

– Вы идите, а мы вернёмся, – сказал ребятам Толя.– Поживёшь у меня, – добавил он, обращаясь ко мне.

Я не сообщал родителям, где живу. А они не разыскивали меня с помощью милиции, потому что боялись огласки, позора. Мать встретила меня возле школы, дала немного денег и сказала, что отец строго-настрого запретил ей поддерживать меня едой или деньгами. Он не без оснований считал, что чем дольше она будет таким образом меня

поддерживать, тем дольше я не буду возвращаться домой. Прошла неделя, другая. Мать не выдержала и потребовала, чтобы я сказал, кто меня приютил. Я категорически отказался. Тогда она сказала, что не будет больше подкармливать меня, потому что отец всё равно догадывается и из-за этого в семье каждый день скандалы. А младшие братья всё видят и слышат.

Толя был настоящий товарищ. Но денег, которые присылали родители, не хватало ему самому. Толя ни разу не упрекнул меня. Наверное, он видел, что и без его недовольства я чувствовал себя паршиво. Но всё равно я стал придумывать, как бы разжиться деньгами. Ничего путного в голову не приходило. Только однажды, когда мы возвращались домой, я каким-то новым взглядом посмотрел на висевшие возле форточек сетки с продуктами...

Я ничего не сказал тогда Толе. У меня только мелькнула мысль. На завтра эта мысль пришла в голову снова. И на этот раз вызвала со стороны совести поменьше возражений. А на третий вечер я забрался по пожарной лестнице до окон четвёртого этажа, сделал несколько шагов по карнизу и срезал сетку перочинным ножом. Сетка упала вниз, в сугроб. Одно неверное движение, и я тоже полетел бы следом.

В сетке были кусок сала, масло, круг колбасы и коровьи ноги. Я сказал Толе, что это передача от маман. Он то ли поверил, то ли сделал вид, что поверил. Впервые за несколько дней мы плотно поели.

Почему я не свалился с того четвёртого этажа! Почему не переломал себе ноги! Может быть, лёжа в больнице, я что-нибудь бы понял. Может быть, такой оборот помирил бы меня с отцом. Но мне не повезло. Я не свалился с карниза четвёртого этажа. И, не упав, я совершил такое падение, последствия которого трудно было предвидеть. Сам не называя свой проступок кражей, я тем не менее совершил её, первую в моей жизни кражу. И естественно, не догадывался, что это только начало.

Наверное, каждый, кто совершает преступление, ищет и находит для себя убедительные оправдания. Иначе невозможно жить с постоянным чувством стыда. Стыда перед самим собой. И чем легче находятся оправдания, тем быстрее усыпляется ими совесть.

Я не считал себя виновным в уходе из дома. Я не считал себя виновным в том, что мне приходилось жить впроголодь.

Значит, я не мог считать себя виновным в том, что мне пришлось выручать себя таким подлым способом. Я понимал, что, съев круг колбасы, я кого-то её лишил. Может быть, лишил колбасы людей, которые считают каждую копейку. Но я успокаивал себя тем, что нанёс людям урон только один раз. Больше этого не повторится. И я действительно не срезал больше ни одной сетки. Но, говоря честно, вовсе не потому, что в этом не было нужды или меня замучила совесть. Слух о том, что кто-то срезал сетку, мигом облетел жильцов всех окрестных домов. И теперь никто не хранил свои запасы за форточкой.

И тут меня снова встретила у школы мать. Она убедила отца, что моё отсутствие отрицательно влияет на младших детей. По детскому недомыслию они сочувствуют старшему брату. И не исключено, что они когда-нибудь последуют моему примеру.

– Отец обещал, что не тронет тебя, – сказала мать.

* * *

Так я вернулся домой. Отец держал слово. И даже не смотрел на меня. Я как бы не существовал для него. Он не раз по пьянке хвастал, что очень злопамятен. Теперь я в этом убеждался. Хотя и не мог понять, чем же я ему так насолил. Неужели только тем, что не вернулся домой по первому его требованию? Он не мог простить, что я ему не подчинился. Наверное, он считал, что мой долг подчиняться должен быть сильнее моего страха перед ним.

Впоследствии я понял очень важную вещь. Всё начинается с отрыва от дома. Можно слыть неисправимым двоечником. Можно целыми вечерами пропадать на улице в самой разболтанной компании. Можно лет в тринадцать начать курить. Можно даже пробовать вино. И всё это со временем пройдёт, как корь, как скарлатина, если только родительский дом останется родительским домом. Если ко всем завихрениям юности там отнесутся без паники, не называя вслух болезнь, без борьбы с этой болезнью. Родители обычно даже не замечают, что в их панике больше заботы о собственном спокойствии, чем о том, каким человеком вырастет их сын. Этот личный мотив сразу угадывается подростком. По самим приёмам борьбы. И он с отращиванием смотрит, как колотятся предки в экстазе праведного гнева. И после этого уже не воспринимает даже самые справедливые наставления.

Ни одно из своих сомнительных увлечений подросток не считает достаточным для большого семейного скандала. И тем более для оскорблений. Он

словно чувствует, что с возрастом всё пройдёт. Так стоит ли цепляться к разным, с его точки зрения, мелочам? Праведную нравственную мелочность – вот что ненавидит подросток в своих родителях. Именно эта мелочность и служит первопричиной разрушения связей с родителями.

Наверное, я бы понял отца, если бы он прямо сказал мне, как давно хотел купить себе новое пальто. Как долго не мог найти для этого свободных денег. Как ему стало страшно, что какая-нибудь шайка грабителей лишит его заветной обновы. Но он ничего этого мне не сказал. Ни спокойно, ни в гневе. Он никак не объяснил мне своего поведения. И я сделал вывод, что ему просто было жалко пальто. И этого-то я никак не мог ни понять, ни простить. Но и это я скорее всего простил бы отцу, если бы он тоже не помнил зла. Но он продолжал дуться на меня, навязывая мне идиотское соревнование, кто заговорит первым.

Всё было немило мне в родительском доме. Не хотелось быть там ни одной лишней минуты. Пришёл, пообедал, позанимался – и на улицу. Поужинал – и снова на улицу. И началась борьба родителей с моей тягой к улице.

А ведь ещё недавно я даже любил сидеть дома. Рисовал портреты писателей. Разбирал шахматные позиции. Играл с младшими братьями. Или, когда никого не было дома, ставил на проигрыватель любимые пластинки и напевал вместе с певцом любимые песни.

Теперь же маме приходилось следить за мной, готовлю ли я уроки. Я читал учебник и ничего не соображал, ничего не запоминал. То меня тянуло пойти к Толе Логвиновскому. То я прикидывал, что бы такое придумать, чтобы уйти из дому до прихода отца. Чтобы не говорить ему «здравствуй», потому что в ответ всё равно ничего не услышишь.

Так продолжалось всю третью четверть, самую длинную и самую важную. Если раньше двойки перемежались с тройками, то теперь они стояли в журнале целыми косяками. Я завёл себе второй дневник. Там «гусей» не было. Там я сам ставил себе более или менее приличные оценки и давал матери на подпись. Наша классная Марго поражалась, почему родители не принимают никаких мер. Потом она вызвала мать в школу и показала все мои настоящие оценки. Мать пришла в ужас. Сказать об оценках

отцу означало превратить дом в ад. Не сказать – взвалить на себя всю ответственность. А что если я не исправлю двоек? А что если меня оставят на второй год? «Хоть завязывай глаза и беги из дому», – плакала мать.

Она быстро переходила от слёз к другому состоянию. «Ещё одна двойка – и пеняй на себя!» – со злостью сказала она мне. И на другой день наш комсорг Вовка Голосов, живший в соседнем доме, по поручению Марго принёс матери новость: я получил ещё одну пару. Мать схватила полотенце и бросилась на меня. Это не очень приятно – когда тебя хлещут по лицу, пусть даже полотенцем. Я бегал вокруг стола, уворачиваясь от ударов, а мать бегала за мной. Так и не догнала, устала, упала на кровать и заплакала. Я принялся её утешать. Она с ненавистью меня оттолкнула. «Если ты не хочешь поберечь мои нервы, то и я тебя не буду спасать. Сегодня же всё расскажу отцу!» Я не стал учить уроки вовсе. Ушёл к Логвиновскому. Вернулся минут за десять до прихода отца. Мать, кажется, уже не злилась. И я попросил её ничего не говорить отцу.

– Даёшь слово, что будешь нормально учиться? – спросила мать.

– Даю, – сказал я.

– Но учти: больше снисхождения не будет! – сурово произнесла она.

Наверное, ей поверил бы любой, только не я. Уж я-то знал, что из двух зол мать всегда выберет наименьшее. Покой в доме был для неё важнее, чем мои двойки.

Она продолжала надеяться, что я стану лучше учиться, хотя бы из страха перед отцом. И не понимала, что я уже не могу лучше успевать, как бы этого ни хотел и как бы ни трепетал перед родителем. Я столько пропустил уроков, что уже ничего не понимал в объяснениях того же Дика. Может быть, у меня и были какие-то шансы исправить положение, но я уже сломался психологически.

В общем, я не мог лучше учиться даже под угрозой отцовского наказания. Убей – не мог. А мать не сразу это поняла. Она снова и снова бегала за мной с полотенцем в руке. Снова рыдала, крича, что вечером всё расскажет отцу. Снова я кричал ей в ответ, что я на всё плевал. И снова перед приходом отца просил прощения и умолял не говорить ему ни слова. Это стало маленьким домашним спектаклем, где каждый из нас двоих заученно играл свою роль. Но иногда мы, как говорится, отступали от текста. Мать разыгрывала твёрдую неуступчивость. И я принимался

мыть полы. Это была с моей стороны как бы взятка, которую мать в конце концов как бы нехотя принимала.

В конце концов маме всё надоело. Она уже не верила, что я переменяюсь. И со свойственным ей умением стала готовить отца к откровенному разговору. Она говорила ему, что я прирождённый гуманитарий, именно этим и объясняются мои слабые оценки по математике, химии и физике. Отец мгновенно взрывался, словно в каждом слове матери было по детонатору.

– Дело не в способностях, глупая женщина,– кричал он.– Дело в том, что у него в голове всё что угодно, только не учёба! Ты думаешь, я не вижу, как вы сговариваетесь за моей спиной? В дураках хотите отца оставить? Ну-ну, посмотрим, к чему это приведёт.

В самом деле, в пронизательности ему трудно было отказать. Я не раз убеждался, что многое в моей жизни он видел лучше меня. У меня в самом деле учёба не шла в голову.

* * *

Помимо Толи Логвиновского у меня было ещё несколько приятелей. На первое место я бы поставил Славку Горнунга, рослого красавца, похожего на актёра Васильева, сыгравшего главную роль в фильме С. Герасимова «Журналист».

Славик приехал с родителями из Калининграда. И привёз оттуда модную причёску, модную одежду, первый разряд по боксу, улыбку артиста и бесподобное умение знакомиться с девушками. Он выглядел старше своих лет. Обычно знакомился с девушками, уже закончившими школу. Я наоборот, выглядел младше своих лет. И уступал Славике во всём. Поэтому ему нравилось мне покровительствовать. Вместе с боксёрскими приёмами он показывал приёмы знакомства с девчонками. И даже подробно объяснял, как нужно целоваться, чтобы меня не посчитали сосунком. Я слушал его инструкции разинув рот. А Славик до слёз смеялся над моей неразвитостью.

Нас объединяла любовь к спорту, книгам и кинофильмам. Ну и, наверное, стремление к любовным похождениям. Мы познакомились с двумя симпатичными медичками Светой и Таней. Они жили в одном квартале от моего дома, снимали двухкомнатную квартиру. Славка шепнул мне, чтобы я не пялился на беленькую пышненькую Светку, а обратил все свои надежды на её менее эффектную

подружку. Ну что же, я был рад и этой доле. Впервые в жизни я чувствовал себя взрослым парнем.

Для знакомства был выставлен спирт. Помня наставления Славика, я решительно опрокинул рюмку в рот. У меня перехватило дыхание, из глаз брызнули слёзы. Нужно было немедленно сделать глоток воды. Я схватил протянутый Славиком стакан. Проклятье! Там тоже оказался спирт! С безумными глазами я выскочил из-за стола и побежал в ванную. Девчонки бросились меня спасать. А Славка, большой любитель розыгрышей и шуточек, корчился на диване от хохота. Света и Таня напустились на него: ну что за шуточки?! А на меня посматривали с сочувствием. Это-то и было невыносимо. Жалуют, словно деточку. С той минуты я уже не мог освободиться от постоянной заботы о том, чтобы выглядеть взрослым. Славка скрывал, что ещё учится в школе. Я и подавно. Чтобы не попасть медичкам на глаза с портфелем, я стал носить тетради в папке, пряча её под куртку. Или засовывал тетради за пояс, а учебники вообще перестал брать в школу.

Отец ничего не знал. Но он не ошибался в своих догадках. Таня занимала в моей голове больше места, чем учёба. Причём я совершенно не умел подавлять или хотя бы ограничивать свою увлечённость чем-либо или кем-либо. И никто из взрослых не указал мне на этот недостаток. Никто не подсказал, как с ним бороться. А сам я ничего не мог сделать с собой. Потому что просто не знал себя и своих скрытых пороков. Как только ни клеймил меня отец, но и он со своей пронизательностью не разложил по полочкам мои качества, негодные и лучшие. Не помог придирчиво их рассмотреть. Он только предсказывал, предрекал, что меня ждёт. А я плевал на его предсказания. Ведь в них не было ничего объяснённого и доказанного. И вообще не помню случая, чтобы он посадил меня перед собой и поговорил спокойно. Он никогда не приближался ко мне на близкое расстояние. Всегда был где-то высоко наверху. И с этого верха покрикивал, проверял, подозрительно наблюдал. Сводил воспитание к управлению путём команд с приличной дистанции. Наверное, он не понимал, что воспитание даёт результаты только при максимальном приближении к тому, кого воспитываешь. А такое приближение возможно лишь при других отношениях. Родительское высокомерие отталкивает. Требуется простота, родительский демократизм. А именно этих качеств отец был лишён начисто, пожизненно. Даже спустя годы

он не переставал относиться ко мне свысока. И сколько я ни говорил ему об этом, он не менялся.

А ещё он никогда не искал причины своих воспитательных неудач в себе. Он всегда винил во всём меня и моих друзей. «С кем поведёшься...» – многозначительно говорил он мне. А я и здесь ему не верил. Он не мог мне доказать, чем плох тот же Толя Логвиновский. Он не мог мне объяснить, чем плох Славик Горнунг. Он никогда не опускался до того, чтобы спокойно сказать, что такого нехорошего он видит в их поведении. Он только предрекал: «Ни до чего хорошего тебя эта дружба не доведёт». Это звучало загадочно. Но отец считал, что я просто обязан верить ему на слово.

Только когда я одно время дружил с Вовкой Вихляновым и Валеркой Овчинниковым, отец был доволен. Учились эти парни не блестяще, но старались. Не тянулись за модой. Не ходили на танцы. Не дружили с девчонками. Свободное время больше проводили дома, а не на улице. Ладили с родителями. И те при встрече говорили отцу, что они со своими детьми горя не знают. Отца это страшно задевало. Задевало и мать.

Ничего не скажешь, Вихлянов и Овчинников были неплохие парни. И продолжай я дружить только с ними, может быть, и обошёл бы стороной то страшное болото, в которое потом попал. Но что делать? Тянуло меня к парням типа Славки Горнунга. Может быть, своими душевными и умственными качествами Вихлянов и Овчинников превосходили Славку, зато он умел жить красиво, раскованно и получать разные малодоступные в том нашем возрасте удовольствия. И эта внешняя сторона привлекала меня больше, чем богатые внутренние качества Вихлянова и Овчинникова.

– Вертопрах ты, Славик. Ох, и вертопрах!– полушутя говорила Славке моя мать.

– Так точно, Мария Кирилловна, вертопрах-с!– также шутливо вставал по стойке смирно Славка.– Но я не виноват-с. Видно, так создан.

– Ты за ним не тянись,– внушала мне мать.– Он баловень судьбы. У него всё в жизни будет легко. А ты, если будешь ему подражать, в такое вляпаешься... Хватишь горького до слёз, попомни мои слова!

Мать тоже пыталась предостеречь меня от ошибок бездоказательными суждениями. Впоследствии родители считали, что со своей стороны сделали всё, чтобы меня образумить. Они убеждены в этом до сих пор. А я до сих пор

спрашиваю себя: что же всё-таки могло меня образумить? Или, говоря точнее, кто смог бы это сделать? Может быть, это сделали бы даже друзья. Если бы, предположим, я входил в компанию, которую возглавлял Валерка Мереха.

* * *

В нашем классе их было пятеро: Борька Сидоров, Валерка Понуренко, Пашка Нагорный, Вовка Раскопов и Валерка Мереха. Но создавалось впечатление, что это большая, просто огромная компания. Ребята не замыкались в своём кругу. Напротив, объединяли вокруг себя класс. Оттого и казалось, что их очень много.

Один Борька Сидоров занимал официальную школьную должность – был старостой класса. Но остальные в этой компании нисколько не уступали ему ни в общественной активности, ни в авторитете. Это был союз равных. В зависимости от того, какие качества нужно было показать, компания выдвигала вперёд кого-то одного. Когда нужно было разобраться в сложной теме, все тянулись к Борьке Сидорову. Намечался шахматный турнир – взоры надежд обращались к Пашке Нагорному. Шла подготовка к школьному вечеру – бразды правления брал Вовка Раскопов, игравший почти на всех струнных инструментах. На школьные вечера обычно ломилась шпана. И тут дежурными у дверей командовал Валерка Мереха, огромный парень с длинными руками. Требовалось примирить двух поссорившихся – обращались к дипломату Валерке Понуренко.

Это не была компания в обычном смысле этого понятия. Это было ядро класса. Ребята знали друг друга много лет. Каждый занимал в жизни другого определённое место. И у каждого был в компании свой вес. Все хотели, чтобы сохранялись равновесие и стабильность отношений, проверенных многими годами.

Я посматривал на эту компанию довольно небрежно. Сейчас можно признаться: я просто завидовал ребятам. Всё-таки это здорово – вот так крепко держаться друг за друга, вести за собой других и быть во всём впереди.

Бросалось в глаза, как относятся к парням из этой компании наши учителя. Никаких поблажек не делалось. Но если, скажем, Пашка Нагорный не тянул какую-то тему, математик не спешил выводить в журнале двойку. Он говорил в таких случаях: «Ну, я надеюсь, Сидоров растолкует тебе эту тему». И ставил в журнале точку. Учителя понимали, в чём сила этой группы. Каждый не хотел отстать от другого. У каждого был постоянный тонус: не подкачать, не понизить репутацию их компании.

Вообще-то как обыкновенно бывает? Понаставили учителя двоек – это ещё полбеды. Есть надежда, что родители со своей стороны не наваят. Но когда и родители давят, тут одно спасение: улица, сочувствие и солидарность таких же двоечников. А вот здоровая компания в классе никогда не даст пропасть. Никому не позволит затюкать. Ни учителям, ни родителям.

Почему я пытаюсь в этом разобраться? Потому что не даёт покоя ещё один вопрос: что прежде началось – плохая учёба или плохое поведение? Ведь это не могло начаться одновременно, в каком-то переплетённом состоянии. Что-то началось раньше. Вот и кажется мне, что учёба всё же первичнее поведения. В этом я не раз убеждался. И не только на собственном примере. Нормальные ребята на глазах превращались в грубиянов, начинали дерзить учителям, считая, что те слишком придирчиво требуют с них знания, которые не сумели как следует передать. Вместе с импульсивной грубостью возникало и возмущение несправедливостью учителя. Возмущение, подобно паре, требовало выхода. А кто мог понять, посочувствовать? Прежде всего такой же недовольный учителем ученик. Именно это возмущение учительской несправедливостью напрямую влияет на выбор друзей, способствует объединению неуспевающих по принципу «подобное тянется к подобному». Так вышло и у меня.

Я оставался в прохладных и натянутых отношениях с компанией Валерки Мерехи. А втайне мечтал подружиться. И дружил с Логвиновским, к которому в общем-то меня никогда особенно не тянуло.

– Плюй на всё!– повторял Толя.

Неужели он не понимал, что значит остаться в десятом классе на второй год? С чем это можно сравнить? Да хотя бы с бегом на марафонскую дистанцию. Ты бежал десять огромных кругов. И рядом бежали ещё тридцать таких же. Ты отставал, задыхался, падал от изнеможения, но продолжал бежать. Пусть в самом хвосте, но бежал. И вот, когда грудь уже ощущает прикосновение финишной ленточки, тебе говорят: «Беги ещё круг. Только теперь один!» У тебя уже не было сил бежать вместе со всеми. А теперь тебе говорят: беги в одиночку. Я бы, может быть, так не отчаивался, если бы надеялся на сочувствие со стороны

родителей. Но я-то хорошо представлял, что меня ждёт теперь дома.

* * *

...Итак, я сидел у Толи Логвиновского. Начали подходить ребята. Кто-то принёс – в честь окончания учебного года – самогону. Этой гадости я ещё не пробовал. Но тут был такой случай. Толя оживился. Ловко встал на костыли, проковылял на кухню, принёс головку чеснока, кусок колбасы и шматок зачерствелого хлеба.

Пить нас учил Витя Стадник. Так же, как и Лёша-морячок, демобилизованный воин. Витя брал на свои деньги бутылку и кулёк конфет. Мы сидели где-нибудь в сквере, подальше от посторонних глаз, Витя рассказывал солдатские байки и пускал бутылку по кругу. Каждый из нас, шестнадцатилетних, делал глоток и закусывал конфеткой. Не знаю, чего добивался Витя Стадник. Если он хотел научить нас пить без закуски, то своей цели он достиг. Другое дело, как мы потом себя чувствовали. После первого урока каждый из нас сбежал за кусты, и многие тут же добровольно отсеялись. Я был среди тех, кому удалось избежать родительского разоблачения. Прошёл весь курс. Мог пить водку, не закусывая и не морщась, чем невероятно гордился.

Я выпил вонючий самогон маленькими глотками. И хотя давно ничего не ел, отказался от закуски. Это пижонство меня и подвело. Я быстро охмелел. И вместе с хмелем в голову ударила злость. Злость на учителей. Злость на родителей. Злость, которую нужно было немедленно разрядить.

– Пошли в школу!– сказал я парням.

– Ты взбесился,– пробовали меня одёрнуть.

– Тогда я пойду один!

Но ребята не пустили меня одного. Пошли следом.

Я зашёл в учительскую – никого. В директорскую – пусто. Из спортивного зала слышался стук баскетбольного мяча. И тут я вспомнил. Сегодня там занимались ребята из ДЮСШ. Те ребята, с которыми я мечтал поехать на республиканские соревнования. Это было единственное, ради чего ещё можно было жить,– эта поездка. А я... Как же я забыл про тренировку? А вдруг кто-нибудь увидит меня в таком виде и доложит тренеру?

Я открыл дверь комитета комсомола. Там сидел Вовка Голосов. Школьный комсорг, одноклассник, сосед по дому, несостоявшийся опекун по части учёбы. Он поднялся мне навстречу, широко расставив, как циркуль, длинные ноги

и чуть наклонив набок маленькую птичью голову. Он сразу определил, что я напился. И его перекосило от возмущения.

– После нас хоть потоп. Так, что ли, Ерёмин?– спросил он насмешливо. Я послал его подальше.

– Пользуешься тем, что в школе ни одного учителя?– зло спросил Вовка.

Я послал его ещё дальше.

– Ну что ж, придётся тебя проучить,– сказал Вовка.

И пошёл в спортзал.

– Ты куда?– спросил я.

– Тебе, видно, мало того, что тебя выперли из школы. Тебе, видно, хочется вылететь и из ДЮСШ? – с противной улыбочкой сказал Вовка.

Он знал, чем меня пронять. Но он не рассчитал. Он думал, что я брошусь его уговаривать, чтобы он не ходил к тренеру. Но он не сообразил, что я уже закусил удила. Учителей не было. Директора не было. Он один стоял передо мной, Вовка Голосов, туфтовый отличник, которого за уши тянули на золотую медаль, учительский подголосок и доносчик. Я ударил его по лицу. Он попятился. Я ударил ещё раз. Он закрыл лицо руками. Сдачи не давал. Только бормотал: «Ну, ты ещё пожалеешь!» А я хлестал его справа налево и слева направо, пока меня не оттащили ребята.

Меня с трудом довели до дома. К тому времени я уже ничего не сообщал. Как в кривом зеркале, увидел перед собой заплаканное лицо матери.

– Какой позор! Боже мой, какой позор!– причитала она.

Потом возникло такое же искривлённое лицо отца. И я отчётливо, почему-то без страха, услышал его задыхающийся от бешенства голос:

– Это ещё не позор! Позор впереди!

* * *

За мной приехали поздно вечером. Симпатичный казах, назвавшийся капитаном Досановым, и с ним сержант милиции, шофёр. Досанов, видно, знал, кого едет арестовывать. На сопротивление не рассчитывал, упустить не боялся.

– Что случилось?– спросила мать.

– Он вам сам потом объяснит,– сказал Досанов.

– Значит, вы его отпустите?

– Всё зависит от него,– сказал Досанов.

Пока я собирался, он не сводил с меня изучающего, насмешливого взгляда. Быстрыми глазами оглядел квартиру и сделал для себя какие-то

выводы. А когда мы сели в милицейский «газик», Досанов почему-то умолк. И в этом молчании я не увидел для себя ничего хорошего.

В голове мелькали разные предположения: за что взяли? За кладовые? Или что-то узнали про горono? В то время меня могли забрать за что угодно...

* * *

Сначала всё шло нормально. Отец устроил меня на работу к своему приятелю инженеру-геодезисту Бобкову. Мы ходили по стройке. Я таскал теодолит или нивелир и специальную, испещрённую чёрными и красными цифрами геодезическую планку. Ставил эту планку там, где требовалось. А Бобков смотрел на неё в окуляры инструментов и, что-то вычисляя, записывал в блокнот. Что к чему в нашей работе, меня не интересовало. И это равнодушие задевало Бобкова. В самом деле, кому понравится видеть рядом скучающую рожу. А если нет ничего общего в совместной работе, то и поговорить не о чем. А молчаливая работа кому угодно давит на психику. Но только изредка Бобков не выдерживал, и раздражение его проявлялось в том, что он прикуривал одну папиросу от другой.

Вернувшись с объекта, мы садились за письменные столы в небольшом кабинете, где пахло ватманом и тушью. И Бобков давал мне копировать чертежи, переводить их с ватмана на кальку. Рисовать я любил с детства, почерк был каллиграфический, достался, вероятно, от отца. Эта работа была по мне. По крайней мере это было лучше, чем шастать по стройке и ставить эту дурацкую рейку там, где тебе укажут. За чертёжным столом была хоть какая-то самостоятельность, предоставленность самому себе. Выросший в условиях домашней неволи, я радовался самым незначительным возможностям почувствовать свободу и независимость.

А вечером, после ужина, я бежал на тренировку. Ребята – десятиклассники, с которыми я занимался раньше в секции ДЮСШ, разъехались по другим городам, поступили в вузы. А я остался. И поскольку выглядел моложе своих лет, тренер оставил меня в команде подставным. Среди младших и менее опытных игроков я выглядел на площадке довольно выгодно. Нарушались, конечно, спортивные законы. Но я считал, что эти тонкости – дело тренера. Моё

дело играть, вести за собой команду и по возможности чаще выигрывать. Мне нужны были победы, хоть какие-то успехи в жизни.

Подозреваю, что тренер взял на душу грех не ради усиления команды, а ради меня. Наверное, он видел мою неприкаянность. Ни о чём подобном мы не говорили. А жаль. Уж лучше бы он прямо сказал о том, зачем он взял меня подставным. Тогда бы я увидел в нём взрослого человека, который мне сочувствует и хочет помочь. А так я видел только нарушение спортивных законов ради команды, которую он тренировал, а значит, ради самого себя.

Отец, как ни странно, смягчил режим. Разрешил гулять до одиннадцати вечера. Не исключено, что он уже побаивался, что у черты совершеннолетия я устрою бунт, снова уйду из дому и впутаюсь в какую-нибудь историю. Он стал меньше ворчать, что я вожусь не с теми пацанами. Наверное, сыграло свою роль то, что я послушно устроился на работу именно туда, куда он хотел. Он, наверное, решил, что я пойду по его стопам, стану инженером-геодезистом...

Теперь я мог гулять на два часа больше, чем раньше. Отец подарил мне старинной работы серебряный портсигар и милостиво разрешил курить открыто. Но не было даровано самое важное – свобода. Свобода распоряжаться заработанными деньгами. Всё до копейки я обязан был отдавать матери, а она выдавала мне то на сигареты, то на кино. И я снова, словно школьник, ходил с пустыми карманами, и это вызывало противное ощущение: неужели я не имею права распоряжаться хотя бы десятой частью заработанных денег?

Ещё стояло лето. А родители уже напоминали, что я должен записаться в вечернюю школу. Я знал, что требования там не те, что в обычной школе, и посещать занятия можно не по расписанию, а не закончивших такую школу обычно не бывает. Всё это я отлично знал. И всё же учиться в этой школе не хотелось смертельно. Я знал, что всерьёз заниматься всё равно не буду, а просто приходить на занятия, тратить на это вечера не хотелось.

И тут я неожиданно подружился с Валеркой Икрамовым. Мы учились с ним в одной школе. Его тоже оставили на второй год в десятом классе. Только он решил выйти из положения иначе. Он решил забраться в здание горно и выкрасть бланк аттестата зрелости.

В том возрасте, в каком мы тогда были, люди ещё очень доверчивы. И Валерка выложил мне свой план, едва мы познакомились поближе. Я внимательно выслушал и тут же внёс свою поправку. Нужно это дельце про-

вернуть иначе. Взять не один-два бланка, а сколько будет в наличии, сбывать их всем желающим и сделать на этом бизнес.

Икрамов был хитрым малым. Эта мысль наверняка родилась в его голове раньше. Просто он хотел единолично завладеть всем запасом аттестатов. Но коли выяснилось, что я тоже парень не промах, Икрамов похвалил меня за деловую хватку и сказал, что медлить нельзя. Нужно срывать, пока наши одноклассники сдают выпускные экзамены.

Лезть в горно нужно было ночью. А темнело пока что поздно. Задержись я хоть на полчаса, дома был бы грандиозный скандал. Поэтому я сказал родителям, что еду на рыбалку с ночёвкой. Отец сам был заядлым рыболовом. Разрешение было получено.

То, что мы задумали, было обыкновенной кражей со взломом. В том случае, если бы кража удалась, наши дальнейшие операции квалифицировались бы обыкновенной подделкой документов. В общем, мы хорошо соображали, на что идём и что за это нас по головке не погладят. Почему же всё-таки шли? Что нас объединило?

Прежде всего мы не хотели больше учиться. Для нас обоих было мучительной пыткой сидеть на уроках, когда все нормальные 17–18-летние молодые люди развлекаются кто во что горазд. И ещё мы надеялись сразу разбогатеть. «В городе двадцать школ, – рассуждал Валерка, – в каждой школе два-три десятых класса. Это минимум 50–75 выпускников. Множим на двадцать. Тысяча или полторы тысячи бланков. Продаём каждый бланк хотя бы за сто рублей. Сколько имеем?»

Когда у тебя в кармане только изредка позвякивает мелочишка, цифра 100–150 тысяч производит кое-какое впечатление. Меня эта цифра просто загипнотизировала. Когда мы крались той июльской ночью к зданию горно, меня всего трясло от возбуждения.

Без единого звука мы вынули стёкла и забрались вовнутрь. В окна падала часть уличного освещения. И мы могли не пользоваться фонариком. В обыкновенном шкафу никто не стал бы хранить аттестаты. И мы вломились в дверь заведующего. Там стоял большой сейф.

Валерка говорил, что моё дело – смотреть, как бы нас не схватили на месте преступления. Взлом сейфа он полностью берёт на себя. У него есть необходимые инструменты. И вообще он разузнал, как это делается. Говорил он тоном бывалого взломщика. Я, конечно, понимал, что он больше рисуется, но не высмеивал приятеля. Вдруг обидится

и не возьмёт на такое дело. Да и кто его знает? Может, правда, специалист по сейфам? В семнадцать лет многому веришь на слово.

Я встал возле окна, в которое мы влезли. А Валерка остался в кабинете заведующего. Вскоре оттуда донёсся такой резкий звук распиливаемого металла, что мне захотелось выпрыгнуть в окно и бежать куда глаза глядят.

Но нам везло. Валерка продолжал скрежетать то сверлом, то ножовкой по металлу, а сторож всё не поднимал тревогу. То ли он спал, то ли его вообще не было на месте. Я весь извёлся у окна, пока спустя час или два не появился Валерка.

– Пойдём! – торжественно сказал он.

Он доканал-таки тот проклятый сейф. Но не хотел открывать дверцу без меня. Ему нужен был момент его торжества. Его превосходства надо мной. Ну что ж, его можно было понять.

– Открывай! – скомандовал Валерка.

Сердце у меня сладко заныло, и я открыл тяжёлую дверцу сейфа. Внутри было темно. И Валерка рискнул включить фонарик. Мы увидели стопки разных бланков, круглую печать на штемпельной подушке, пачки похвальных листов и грамот. Сейф был буквально набит разными красивыми бланками. Там только не было того, что нужно было нам. Там не было бланков аттестатов зрелости.

И тогда мне стало по-настоящему страшно. Страшно от того, что нас могут обнаружить и поймать на месте преступления ни за что. Мы попадёмся, так и не получив того, чего хотели.

Вот такая была лично у меня психология. Мне не было стыдно, что я участвую в краже со взломом. Я не потел от страха, когда влезал в тёмное помещение гороно. Испытывал только азарт, жадное стремление овладеть бланками аттестатов. А когда понял, что желаемого нет, испугался, что могу поплатиться ни за что. Я готов был чувствовать свою вину только в том случае, если бы овладел аттестатами. А то, что среди ночи влез в учреждение, – это по моему понятию как бы не было преступлением.

Мы с Валеркой не верили своим глазам. Как же так? До окончания экзаменов ещё целая неделя, а аттестатов нет. Неужели раздали по школам? А может быть, они хранятся в каком-нибудь другом кабинете?

Мы взломали все двери. Но другого сейфа не было. Значит, и аттестатов быть не могло. Не могли же хранить их

в обыкновенных шкафах. На всякий случай мы перевероршили все шкафы. Всё напрасно.

Оглушённые неудачей, мы молча выбрались из здания. Посыпали свои следы махоркой. Потом долго петляли по городу. И всё же страх разоблачения сохранялся несколько дней. Я вздрагивал от каждого звонка в дверь. Избегал попадаться на глаза милиционерам. Мне казалось, что любой из них всё поймёт, едва только взглянет мне в глаза.

Но как только прошёл страх, возникло другое чувство. То, что мы не нашли аттестаты, просто досадная случайность. И не случайно другое. Не случайно, что нас не нашли. Мы всё сделали чисто, комар носа не подточит! Мы ещё ничего не планировали. Не нацеливались ни на какое другое преступление. Но уже жили гордым ощущением своей неразгаданности, своей опытности.

* * *

– Ну, ты придумал, что будешь говорить на допросе?– весело спросил меня капитан Досанов.

Я молча пожал плечами. Язык у меня не отнялся. Но когда тебя впервые в жизни вот так забирают из дома и увозят для допроса, в этом мало приятного. Тем более, что не знаешь, о чём будут спрашивать, в чём подозревают. И тем более, если чувствуешь за собой немало грешков.

Незаметно для самих себя мы с Валеркой быстро забыли, что нас ещё недавно интересовали только аттестаты зрелости. Если удалось проникнуть в одно запретное помещение, почему бы не "попробовать" забраться в другое? Излюбленной темой наших разговоров стали будущие кражи. Мы часами обсуждали, куда можно было бы залезть и что именно взять. Наверное, мы были очень похожи. Если что-то втемяшилось в голову, не могли думать ни о чём другом. И как это бывает, когда человек целиком сосредоточивает усилия мысли на чём-то одном, мы придумывали довольно хитрые способы. Но потом сами же находили в своих планах слабые места, потому что с одинаковым увлечением думали как за себя, так и за тех, кто будет нас ловить. Особенно отличался этим умением Валерка. И мне тогда приходила в голову мысль, что он мог бы стать толковым розыскником, если бы как-то иначе повернула его жизнь.

Может быть, мне это только казалось. Но в одном я уверен совершенно. У Валерки, как и у меня, не было тогда главных качеств, отличающих настоящего преступника. Не было ненавистного отношения к тем, кто будет нас искать и привлекать к ответу. Наверное, в наших

преступлениях той поры было больше игры, чем испорченности. И наверное, на том этапе нас ещё можно было остановить, пока мы не стали преступниками всей своей психологией. И Досанов почти наверняка с первого взгляда определил моё отношение к милиции и понял, кто перед ним.

– Я вижу, парень ты не пропащий,– всё так же весело сказал он мне.– Так что если хочешь выпутаться, сам расскажешь обо всём. Выложишь всё начистоту и тем облегчишь душу. Сейчас приедем, дам тебе бумагу, ручку, посажу в своём кабинете, а сам пойду по своим делам. А ты всё опишешь. Договорились?

Я не знал, что ответить. Он брал меня, что называется, голыми руками. Мне действительно надоело трястись от страха за свои проделки. А Досанов смотрел такими глазами, будто он всё про меня знает. И в то же время от всей души хочет мне помочь. И я начал думать: а может,– и правда, написать про горону? А может, написать и о другом? Я и предположить не мог, что мне придётся держать ответ совсем не за то преступление.

* * *

Я не очень торопился переходить от разговоров к делу. И Валерке это не понравилось. Он нашёл себе ещё одного приятеля, восьмиклассника. И теперь я часто видел их вместе. Валерка что-то втолковывал, а салага почтительно слушал. И когда мы встречались, салага смотрел на меня с нескрываемым презрением. Не иначе как Валерка выдал мне нелестную характеристику. Но я плевал на такое отношение. У меня тоже завелись другие дружки. Поинтересней.

Сперва я познакомился с Димкой Луценко. Димка жил по соседству. Из окна его комнаты на весь двор орал проигрыватель. Сам Димка здорово играл на фортепиано. Что привлекло меня в нём? Во-первых, он был старше на целых четыре года. Во-вторых, любил выпить и мог взять на себя все расходы. В-третьих, был довольно начитан и сыпал афоризмами, которые потом можно было при случае повторить. Вроде: «Жизнь становится пресной, когда из неё испаряется соль». В-четвёртых, Димка работал в оркестре лучшего в городе ресторана. А ресторан был для меня

той шикарной жизнью взрослых, о которой я только мечтал.

Я и другие пацаны из нашего двора приходили к ресторану и смотрели в большие окна. Немного кружилась голова. Нам тоже хотелось войти, сесть за столик, сорить деньгами, делать дорогие заказы, обнимать и целовать девчонок, небрежным жестом протягивать музыкантам деньги. В этом пьющем, жующем, танцующем мире Димка был своим человеком. Он там просто работал. Как же не подружиться с таким парнем? Как не гордиться дружбой с ним?

В несколько приёмов я взял у матери десять рублей, тайком напялил лучший отцовский костюм и пошёл в этот ресторан. Димка показал на меня глазами высокой смазливой официантке. Та подошла, сказала, что её зовут Зоя, посадила меня на лучшее место, рядом с эстрадой. «Здесь сидят завсегда!»,- по-свойски сказала она мне и семенящей походкой скрылась в служебном помещении. Через минуту принесла, как и обещала, заказ на свой вкус. Я пил коньяк, закусывал окороком, балыком и бужениной. Потом наслаждался великолепно приготовленным эскалопом с хрустящим картофелем. А Димка играл на своём фоне и весело мне подмигивал. Никогда я не чувствовал себя так хорошо. Я готов был сидеть за столиком хоть до утра. Просто сидеть и смотреть на веселящихся людей и чувствовать себя равным им. Я пробыл тогда в ресторане до самого закрытия. И только в одно мгновение мне стало не по себе, когда Зоя подошла к столику, где сидели четверо парней лет двадцати пяти. Один из них пьяно обнял её и, что-то лопоча, похлопал по заду. Зоя не обиделась, не ударила нахала по руке, а, притянутая сильной рукой, села ему на колени. Но это неприятное впечатление длилось всего мгновение. В остальном я прекрасно провёл время. И как бы отравился рестораном. Теперь меня тянуло туда ежедневно. Нужны были деньги. Где их взять? Эта мысль не выходила из головы. И я пошёл к Валерке. У него всегда было полно идей.

– Красть – так миллион! – заявил Валерка.

Он не рисовался. Он в самом деле был таким. Не хотел размениваться на мелочи.

– Миллион – так миллион, – согласился я.

– Это другое дело, – сказал Валерка. Ему страшно не нравилось, что я откололся от него. Но теперь он торжествовал. Есть один план. Если получится, твоя доля – тридцать процентов.

Меня это задело, но я промолчал.

– Пойдём втроём,– пояснил Валерка. – Там на всех хватит. Магазин-то ювелирный.

Впоследствии, когда я освободился из заключения и стал журналистом, мне не раз приходилось писать о подростках-правонарушителях. И всегда вставал вопрос: знали, на что шли, или не знали? Имелась в виду не тяжесть того, что будет ими содеяно, а грозящая мера судебного наказания.

«Мы об этом не задумывались,– отвечали мне подростки.– Знали, конечно, что могут посадить. Но на какой срок – нас это как-то не интересовало. Когда я приводил эти слова в очерках, читатели не верили. «Такого быть не может, – писали они в редакцию.– Неужели эти подростки такие недоумки, что не догадываются заглянуть в уголовный кодекс и примерить на себя подходящую статью? Это верх легкомыслия – идти на риск и не поинтересоваться, сколькими годами свободы рискуешь!»

Мне это не казалось странным. Я вспоминал себя, Валерку Икрамова. Мы тоже не листали уголовный кодекс. Нам тоже было безразлично, сколько лет заключения нам отвесят, если мы попадёмся. Исход преступления вычислялся нами просто, даже примитивно. Или мы благополучно унесём ноги и будем вести шикарную жизнь. Или нас арестуют и посадят. На какой конкретно срок – об этом я не подумал ни разу!

Отчего такое легкомыслие? Наверное, от свойственного молодости ощущения бесконечности жизни. Подсознательно, быть может, и вёлся какой-то подсчёт. Попался – дали десять. Вышел в двадцать семь. Всё равно впереди целая жизнь.

Ну ладно, думаю я сейчас, когда пишу эти строки. Мне было безразлично, сколько лет неволи мне назначат. Но неужели так же безразлично было идти на ювелирный магазин? Ведь это не какие-то аттестаты. Не просто кража. Кража в особо крупных размерах. Значит, и наказание будет побольнее.

Мысль о том, что это более крупное дело, была. Только не было в ней ничего тормозящего, останавливающего. Было другое. Магазин размещался на первом этаже жилого пятиэтажного дома. Охранялся он сигнализацией. Но это препятствие только подогревало наш азарт. Мы уже переступили

невидимую чётру. Голова уже начала работать в новом направлении. Как бы превзойти самих себя.

После тщательной разведки мы пришли к выводу, что сигнализацию нам не отключить. Но магазин расположен на первом этаже. Под ним подвал... Одну его половину занимало бомбоубежище, другую – кладовые жильцов. Оба входа в подвал были на замках, и первое, что мы сделали – подобрали к замкам ключи. Оставалось решить, как без особого шума пробить среди ночи бетонную плиту, отделяющую подвал от магазина, и как преодолеть вцементированную в эту плиту арматуру.

Не буду описывать, что мы тогда придумали. Скажу только, что даже если бы нам удалось преодолеть все препятствия, мы бы всё равно ничего не взяли. Потому что все золотые украшения на ночь запирались в сейфы. В большие двуручные сейфы, не то что в горно. И эти сейфы были нам не по зубам.

Столько было планов! Столько надежд! Столько переживаний! И всё напрасно. Снова всё напрасно. Мы готовы были выть от бессилия и злости.

Нам бы радоваться, что так везёт, а мы злились. Нам бы, повторяю, радоваться. Ведь не могли же мы действовать бесшумно. Кто-то из жильцов наверняка слышал подозрительные звуки. Только никто не захотел связываться с милицией. Нас спасло чьё-то равнодушие, чья-то трусость. Нам отчаянно везло из-за чьей-то халатности и из-за чьего-то равнодушия. А мы этого не понимали. И снова считали, что всё в общем-то сделали чисто. Нас тогда ещё должны были схватить и наказать. Но этого не произошло. Но мы наказали тогда сами себя. Наказание заключалось в самом неудавшемся преступлении, в бессилии и злости, которые мы испытывали.

После второй, такой оглушительной, неудачи нам требовался хоть какой-то успех. Хотелось хоть чем-то завладеть. Не золотыми украшениями, так хотя бы... И мы начали взламывать один за другим запоры на кладовых. Там хранились картошка, соленья, варенье. И ничего такого, что можно было бы обратить в деньги. Только в одной из кладовых хранился старенький спортивный велосипед. И мы его укатали.

Это и стало, кажется, нашим самонаказанием за неудавшиеся большие преступления.

* * *

– В милиции ещё не бывал? – спросил Досанов, когда мы подъехали к отделению.

Я покачал головой и сглотнул слюну. Чем меньше оставалось минут до начала допроса, тем становилось страшнее. Вспотели ладони, в коленях появилась противная мелкая дрожь.

А капитан Досанов выскочил из машины и быстро, не оглядываясь и не проверяя, иду ли я следом, пошёл вперёд. Когда я приблизился к его кабинету, он уже вошёл туда и сделал всё так, как говорил в машине. Положил на стол несколько листов бумаги и авторучку. Дружески подмигнул мне: «Пиши!» – и пошёл по своим делам, не закрыв кабинета. Я выглянул. По коридору ходили люди. Но никому не было до меня никакого дела. Я мог выскочить и убежать. По крайней мере, я был уверен, что у меня есть такая возможность. Только куда бежать? И зачем, если всё равно поймают? Не сегодня, так завтра. Видно, и это предусмотрел Досанов.

Я сел за стол, взял ручку и заметил, как дрожит рука. И только в этот миг понял, что уж это чересчур – без выяснения того, в чём подозревают, взять и катать про все свои художества. Нет уж, товарищ капитан, вам всё же придётся сказать, что вас конкретно интересует.

Досанов появился минут через десять. Увидел чистый лист бумаги и рассмеялся.

– Суда боишься? Зря. Не срок тебе нужен, а хороший тонкий ремень. Как видно, не пробовал. Семья, сразу видно, интеллигентная. А я бы на месте твоего отца даже без причины, на всякий случай выдрал бы тебя. Чтобы ты на всю жизнь зарубил на носу, что брать чужое нельзя. Ни под каким видом нельзя! Тебе, наверное, никогда этого не говорили. Думали – и так понимаешь. Нет, не все сами это понимают. Некоторым требуется специальное внушение.

Я почувствовал, что он снова лишает меня воли к сопротивлению. Самое страшное для меня было то, что я ему верил, соглашался с тем, что он говорил.

– Понимаю, что ещё тебе мешает, – продолжал Досанов, сев за свой стол и закуривая. – Боишься кое-кого выдать. И это зря. Подумай: если их не остановить сейчас, им же хуже будет. Такого натворят! Тогда уже так просто не открутятся. А кто будет виноват? Ты! Не по-товарищески получится.

Любой более или менее опытный преступник попытался бы обвести капитана вокруг пальца. А я не мог. Потому что мне самому не хотелось заходить далеко. Страшно было заходить далеко. Не чувствовал я в себе того набора качеств, которые требуются настоящему преступнику.

– Подумаешь, велика важность – кладовки раскурочили!– продолжал Досанов. – С кем из подростков этого не бывает. Я сам в детстве украл из соседней отары барана, когда помогал отцу скот пасти. А, как видишь, преступником не стал. Так и ты. Так и те, кого ты боишься назвать. Понимаю, приключений хочется. Организм требует. На первый случай мы таких прощаем. В суд дело не передаём. Кладём папочку с показаниями подальше и какое-то время, не скрою, держим на всякий случай. Как дубину. Иначе нельзя. Иначе ваш брат решит, что ему и другое сойдёт с рук. Вот и ваши показания положим под сукно на год-другой. Понял?

Он, наверное, хорошо понимал, что мне нужно всё объяснить и всё доказать. Только тогда я во всём признаюсь. И ему это удалось. Я готов был взяться за перо. Но, как это бывает у подростков, хотелось ещё какого-то решающего подтверждения, что мне не морочат голову.

– А вы отпустите меня, – сказал я Досанову. – Я встречу кое с кем, передам ваши слова. И мы вместе придём.

– Нет, у нас так не делается, – вкрадчиво ответил Досанов. – Мы отпускаем только тогда, когда видим, что человек может исправиться. А доказать это можно только одним способом – написать чистосердечное признание.

– Я вам не верю, – просто так, на всякий случай, сказал я.

Досанов обиженно на меня посмотрел. Пожал плечами. Залез во внутренний карман пиджака, вынул красную книжечку, положил её на стол и спокойно сказал.

– Вот, партийным билетом обещаю, что ни тебе, ни твоим друзьям ничего не будет. Если напишете всё, как было.

В школе я писал сочинения на четвёрки и пятёрки. Так что недолго пыхтел над своим чистосердечным признанием.

– Ну, вот и отлично, – сказал Досанов, пробежав глазами мою писанину. – Можешь идти домой. – Иди, иди! – добавил он, заметив, что я ошалел от даруемой свободы.– Только одна просьба. Пока никому не говори, где был и что делал. С друзьями пока не встречайся. Я сам их вызову.

Он сказал эти слова чуть равнодушно, чуть устало, чуть торжествующе. Тонем человека, который добился своего. И только в этот миг меня кольнула тревога. Обожгло подозрение, что я попался на хитрый приём. «Нет, не может быть, – сказал я себе. – Ведь он поклялся партбилетом».

А на другой день Икрамов пришёл ко мне домой, вызвал на лестничную площадку и сказал:

– Ты знаешь, что за такие штуки бьют и даже убивают?

– Ты был там? – спросил я.

– Да, я был там и любовался твоим почерком, предатель.

Так со мной ещё никто не разговаривал. Но я стерпел. Мне нужно было ответить Валерке не оплеухой, а таким же тоном.

– Ну, если ты сейчас здесь, а не там, значит, ты тоже оставил образец своего почерка.

– Чего не сделаешь ради свободы, – ответил Валерка.

– Вот и я ради свободы. Значит, никто из нас не лучше другого.

– Не верю я, что они оставят нас в покое, – на полтона ниже сказал Валерка.

И только теперь я увидел, что он упал духом больше моего. Только топорщится, продолжает разыгрывать превосходство. Его убивало недоверие к милиции. А меня поддерживала мысль, что Досанов просто так не стал бы размахивать партбилетом.

А через три или четыре недели, когда успокоились даже родители, пришла повестка из прокуратуры. Нас вызывал следователь Берестовский. Он сказал:

– Против вас не хотели возбуждать уголовного дела. Но настаивает потерпевший Лепехов. Ущерб ему вы нанесли незначительный. Но он считает, что вы должны ответить за сам факт кражи. Или, как он пишет, за сам факт посягательства на частную собственность. Формально он прав, И мы обязаны реагировать. Но если вы обратитесь к Лепехову и он заберёт своё заявление, мы не будем настаивать на передаче дела в суд. Надеемся, что вы и так поняли, что вам грозит.

Берестов назвал нам адрес Лепехова, и мы пошли на переговоры. Дверь нам открыл... Кого угодно я ожидал увидеть, только не этого типа...

Эх, как много в жизни зависит от мелочей, от разных случайностей. Однажды мы стояли возле дома, где жил

этот Лепехов. Нас было много, человек двадцать. Все горластые. Каждой хотел, чтобы слушали его одного. А Лепехов жил на первом этаже. Он высунулся в форточку и провякал, что, если мы сейчас же не уберёмся, он вызовет милицию. Ну ладно бы, попросил по-хорошему, а он сразу принялся грозить. Кому это понравится? Послал его подальше не один я, но меня он почему-то запомнил лучше других. И потом, когда встречались, смотрел на меня волком. Я отвечал ему таким же взглядом. Он ненавидел меня за то, что я ему нагрубил в ответ на его грубость. А я возненавидел его за то, что он смотрел на меня такими злыми глазами. И однажды вечером, 31 декабря, мы взяли в круг этого заморыша Лепехова и, надрываясь от хохота, устроили ему пятый угол. Это была; конечно, дурость – портить человеку настроение в Новогодний праздник. Но зачем он даже в такой день смотрел на нас своими волчьими глазами?

В общем, мы с Валеркой остолбенели, когда увидели, что потерпевший Лепехов и этот заморыш – одно и то же лицо. Зато Лепехов не растерялся.

– Чтoб ваши рожи я больше здесь не видел! – прошипел он и с грохотом захлопнул дверь.

Мы бросились к Димке Луценко. Тот кое-что смыслил в юриспруденции. Димка сначала обозвал нас самыми последними словами за то, что мы погорели из-за какого-то велосипеда. Но потом смягчился и сказал, что ничего страшного нет. Из-за такой ерунды едва ли посадят. Скорее всего влепят условно. Отметим это событие в кабаке. И начнём, как говорится, новую жизнь. Всё забудется, как дурной сон. «Кто в детстве не брал чужого? Все брали!» – философствовал Димка. Но Валерка не успокаивался. Играл желваками, мотал головой.

– На всякий случай пусть родители нажмут на все кнопки, – посоветовал Димка.

Не знаю, что предпринимали родители Валерки, а мои обратились к судье Смирновой. Когда-то я учился с её дочерью Нелькой в восьмом классе: Кажется, я нравился Нельке. Но я не виноват, что мне нравилась другая девчонка. И Нелька из-за этого стала относиться ко мне почти враждебно. Я тоже однажды нагрубил ей. И пошло-поехало. Как-то мы разругались вдрызг. Нелька обозвала меня самыми обидными словами. И я шлёпнул её что было сил ладонью по спине. И Нелька пожаловалась матери.

Мать её, Зою Георгиевну, мне в ту пору нечего было опасаться. Перед законом я был чист. А мои родители

водили со Смирновой дружбу. Собирались в одной компании. Смирнова, как и мой отец, любила играть в карты. И выпить тоже была большой любительницей. Как я понимал, эти две страсти образовались от того, что у Зои Георгиевны была очень нервная работа, и от того, что она жила без мужа. Я часто с любопытством наблюдал, как она дымит папироской, пуская дым в глаза партнёрам, как много пьёт и не пьянеет, и мне казалось невероятно странным, как эта некрасивая, пропахшая табаком женщина может решать чьи-то судьбы. У меня, вероятно, были тогда книжные представления об облике настоящего судьи.

О том, что Нелька пожаловалась матери, я догадался по тому, как изменилась по отношению ко мне Зоя Георгиевна. Она продолжала встречаться с родителями в той же компании. Но уже без прежней теплоты, а на меня вообще старалась не смотреть. А однажды всё же не выдержала и сказала родителям, что они воспитывают парня, которому ничего не стоит поднять руку на девочку. Она была права. Чтобы ни лягнула Нелька, не стоило распускать руки.

Потом мы переехали в другой район города. Я перешёл в другую школу. Родители и Смирнова встречались теперь реже. И отец, который всегда так гордился своим злопамятством, теперь говорил о Смирновой: «Ох и злопамятная же баба! Ох и злопамятная!»

И вот теперь только Смирнова могла помочь мне остаться на свободе. Родители купили две бутылки водки и пошли к ней. Потом я узнал, что она долго отказывалась помочь. Потом, когда основательно выпили, сказала, что дело передано именно ей. И добавила: «А почему он сам ко мне не пришёл?» Это обо мне.

После визита к Лепехову я уже не мог идти к Смирновой. Лучше сесть, чем унижаться. И как ни уговаривала мать, как ни требовал отец, я так и не пошёл просить снисхождения в частном порядке. Решил, что лучше сделаю это во время суда.

* * *

Стоял август. А суд назначили на октябрь. Дело пустяковое, стоило ли торопиться? Дав подписку о невыезде, я разгуливал на свободе. И сведущие люди говорили мне, что это первый признак того, что не посадят. Тех, кого

собираются посадить, сразу берут под стражу, во время следствия. Я верил и всё же жил в постоянном страхе. «А вдруг всё же посадят?» – эта мысль не выходила из головы.

Наказанием, как я теперь понимаю, является не только приговор суда, а и то время, которое предшествует суду. Если вдуматься, наказание начинается сразу после того, как человек совершил преступление. Ещё ничего не знает милиция. Никто ничего ещё не знает. Один преступник. Но наказание уже началось. Вспомню, как это было, у меня.

Слух о том, что меня будут судить, быстро распространился среди ребят. Я сразу превратился в бывалого парня. В милиции побывал. В прокуратуре побывал. Чем не бывалый? А впереди суд. Это какие же надо иметь нервы, чтобы ходить как ни в чём не бывало?! Словно впереди не срок, а поездка на южный берег Крыма.

Изнутри меня пожирал страх, а снаружи я строил из себя парня с крепкими нервами. И чем больше строил, чем больше это удивляло ребят, тем больше и вправду таким становился. Парнем, которому море по колено. Это-то и было наказанием. Не хочешь понять, куда катишься, покатишься ещё дальше! И будешь катиться до тех пор, пока ужас не охватит тебя всего. Пока не будет уже сил корчить из себя героя, супермена. Пока не станешь, наконец, самим собой.

И снова я пытаюсь понять, мог ли я остановиться в тот момент. И что для этого требовалось. Родители потом жалели, что не уехали в другой город. Они догадывались, что я был словно на уличной сцене и, принимая восторги публики, чувствовал себя ведущим актёром. Может быть, это и могло что-то изменить. Если бы они действительно переехали в другой город. Но, с другой стороны, они не могли увезти меня от меня самого. То, что со мной происходило, было самой настоящей болезнью. У меня уже из головы не выходило, как бы сделать свою жизнь подежней, покрасивей. Я уже помешался на этих мыслях. И у меня был только один путь к такой жизни – через преступление. Потому что другого пути я просто не знал. Значит, куда бы мы ни уехали, я везде нашёл бы себе подобных и снова принялся бы за старое.

Я был не просто преступник, а преступник с больным

мышлением. А большие идеи, овладевшие человеком, могут быть вытеснены только здоровыми контридеями. Эти идеи могли внушить мне окружающие взрослые люди. Ну хотя бы родители или учителя. Наконец, судья Смирнова, если учесть, что каждый суд должен подействовать на подсудимого воспитывающе.

Но вот я вспоминаю то время, до первого суда. Хоть кто-нибудь из взрослых поговорил со мной? Хоть кто-нибудь указал мне хотя бы на то, что я просто болен? Что стремление к красивой жизни владеет почти каждым человеком, только не все почему-то идут к этой жизни через преступление. Нет, никто меня не предупредил, как опасно изображать из себя супермена. И никто не сказал, что представляет собой неволя, какие ожидают там лишения и унижения.

Все ждали суда. И все думали, что само судебное разбирательство сможет что-то во мне изменить. Дома все разговоры сводились к одному. Смирнова едва ли посадит. А вот сколько даст условно – это вопрос. Мать то и дело вздыхала: «Скорее бы тебе в армию!»

И вот суд. Выступает капитан Досанов, который вольно или невольно меня обманул. Выступает Лепехов и уверяет, что помимо велосипеда мы украли у него массу дорогих вещей. Смирнова смотрит на меня до жути холодным взглядом. А мне в то время нужны были другие эмоции. Прежде всего чувство стыда. Я же чувствовал только лёгкий холодок за воротником рубашки: «А что если всё-таки посадят?»

И вот – «Именем Казахской Советской Социалистической Республики... – слышу я сипловатый голос Смирновой, – Ерёмину и Икрамову... шесть лет условно».

– Это тебе по знакомству выдали, – шепнул мне Валерка.

– Мало дали, – услышал тут же двух старушек. Таких паразитов сажать надо. Сегодня кладовки обирают, завтра в квартиры полезут.

Я обиделся тогда на этих бабулек. А они оказались правы. Посмотрел на мать. Мать стояла с застывшим лицом и сжимала в кулаке носовой платок. Но она так и не прослезилась. Наверное, от позора слёзы не текут. У неё только подрагивали губы. И она едва слышно повторяла: «Какой позор! Какой позор!»

А у меня были другие ощущения. Я испытывал облегчение. Предсказания сбылись. Не посадили. В колонию не

отправили. Только подёргивал за душу страх. Вдруг откроется, что из того подвала мы пытались пролезть в ювелирный магазин. Добавят попытку ограбления. И тут уж условным сроком не отделаешься. «Значит, не увидели пролом в потолке, — думал я. — Это в другом конце подвала, далеко от кладовой Лепехова. А там темно, нет лампочки. Значит, пронесло».

И ещё я знал, что на меня смотрят ребята. Как тут предашься угрызениям совести? Я как бы принадлежал не себе, а нашей уличной корпорации. То, что могли подумать обо мне ребята, было важнее того, что я испытывал. Я терял последние остатки естественности даже перед самим собой.

В зале суда ребята сдерживались. Только подмигивали мне и ободряюще улыбались. А когда я вышел на улицу, меня окружили, жали руки, хлопали по плечу. В нашей уличной братии были в основном девяти-восьмиклассники. Они были пошустрее, поспособней меня на всякого рода делишки. Но соблюдали известное уличное правило: кто старше, тот и главнее. Оживление было бурным и, как мне показалось, не очень естественным. Не все были испорчены улицей. Кто-то в душе осуждал меня, а может, даже презирал. Но что-то мешало им сказать мне прямо: «Ну какой ты к чёрту герой? Обыкновенный мелкий вор!» Но, видно, всеми владело стадное чувство одобрения, солидарности. Ещё бы! Ведь есть некий набор уличных походов. Побалдеть под чьим-нибудь окном, довести жильцов до белого каления. Идти стенкой по тротуару, преградить дорогу парочке, окружить и вынудить парня унижаться. Разбить фонарь в подъезде, натянуть поперёк тротуара проволоку, спрятаться и наблюдать, как падают прохожие. Только бы показать свою изобретательность. Только бы вдоволь поржать над чьей-нибудь беспомощностью. Только бы испытать превосходство стаи. Шастанье по кладовым входит в набор уличных приключений. Как можно не облазить чердаки и подвалы в соседних домах? Полазить и не проверить прочность запоров? Проверить прочность запоров и ничего не взять? Поддерживая меня морально, братва поддерживала себя, свой общий коллективный дух.

Если бы в то время я сделал над собой усилие и напряг совесть, у меня всё равно не вышло бы никакого раскаяния. Потому что превыше всего на свете я ставил это коллективное мнение о себе. А друзья не считали мою

кражу кражей в обычном смысле слова. И поскольку мне не было стыдно перед ними, мне не было стыдно ни перед кем другим. И прежде всего перед самим собой. У меня как бы не было своей совести. Я полностью подчинился совести своей уличной стаи, если таковая вообще была.

Я пытаюсь представить. Вдруг мне стало бы стыдно за свои проделки и я решил бы больше не ронять себя так низко. Мог бы я преодолеть себя? Едва ли. Были в нашей дворовой компании ребята, которые присутствовали при том, как проделывают свои художества другие, но сами никогда ни в чём не участвовали. Мог бы и я, не выходя из компании, занять такую позицию? Конечно, мог бы. Если бы не был самим собой. Не знаю, откуда это бралось, но я не мог управлять собой, смирять себя, ограничивать. Стремление всюду занять активную позицию было сильнее...

* * *

Резким голосом мать оторвала меня от друзей.

– Сейчас же иди домой, – приказала она.

– Ещё чего! – ответил я. j

– Вчера ты разговаривал другим тоном, – сказала мать.

Она намекала, что вчера я ещё боялся решения суда и надеялся на помощь родителей. Что ж, она была права. Растерянность быстро сменилась неблагодарностью, наглостью.

– Учти, – предупредила мать, – вечером тебя ждёт разговор с отцом. Раньше он не хотел, а теперь...

– Если он тронет меня хоть пальцем... – вскипел я.

– Он хочет серьёзно с тобой поговорить.

– Раньше надо было говорить! – отрезал я.

– Но ужинать-то ты придёшь? – сбавив тон, спросила мать.

Когда она отступала, мне хотелось атаковать.

– Нет, – сказал я. – Ужинать я буду в ресторане.

Я давно решил. Если всё обойдётся, закачусь в ресторан и оставлю там все свои страхи перед законом. Димка шутливо пообещал, что при моём появлении оркестр сыграет туш. Уж об этом он побеспокоится.

Валерка больше не желал водить со мной дружбу. Он был уверен, что, если мы будем продолжать свои похождения и меня возьмут и снова примутся допрашивать, я снова

попадусь на какую-нибудь удочку. Объясняться перед ним и клясться, что я сделал свои выводы, я не стал.

Словом, в ресторан я пошёл один. И появился в дверях, как было условлено, в семь вечера, секунда в секунду, Димка увидал меня, что-то сказал своим лабухам. И оркестр сыграл туш. Это было ужасно нелепо, но я разомлел от удовольствия. А когда сел за столик и Зоя принимала заказ, Димка сказал в микрофон:

– Сегодня у нашего друга Виталия был трудный день. Но всё обошлось. Он снова с нами. По этому случаю мы сыграем любимую мелодию Виталия «Караван».

Много глаз смотрело на меня с любопытством и уважением. Ведь половину ресторана занимали вовсе не честные труженики. Я, что называется, ловил кайф. И не знал, что именно в ту минуту за соседним столиком ко мне внимательно присматривались...

* * *

Когда мне было одиннадцать лет, мы жили в сибирской деревне Муромцево, на севере Омской области. Деревня эта стоит на берегу речки Тары. А за Тарой начинается тайга.

Отец работал тогда землемером. Ему выделили персональный транспорт – невысокого мерина монгольской породы по кличке Гнедко. И летом я был при отце конюхом и кучером. Когда мы возвращались из тайги в деревню, я спутывал Гнедку передние ноги и пускал пастись. Через час-другой распутывал, подводил к плетню, впрыгивал с него на спину лошади и, обхватив ногами сытое брюхо, гнал его к речке. Когда Гнедко заканчивал пить, я посвистывал особым свистом. Тряхнув чёрной чёлкой, мерин пил немного ещё.

Ходить за лошадьёю меня учил сын деревенского конюха Мишка. Мишка был из удивительной семейки. И отец, и мать, и семеро их детей, сопливых, мал-мала меньше, были огненно-рыжими и безбожно матерились. Но самым удивительным был их конь Гигант. Второго такого в деревне не было. Вытянутой вверх рукой я едва доставал ему до спины. Здоровенная коняга нервно перебирала передними ногами и норовила укусить.

На Гиганте ездил верхом только Мишка. Он задобрил его любимым лакомством лошадей – хлебом, посыпанным крупной солью. Когда я видел скачущего галопом Мишку,

меня мутило от зависти. Почти с ненавистью смотрел я на неказистого добродушного Гнедка.

Однажды я попросил Мишку дать мне прокатиться на Гиганте. «Жить надоело?» – высокомерно спросил Мишка. Я отстал, но при каждом удобном случае незаметно прикармливал Гиганта хлебом с солью. Всё шло по намеченному плану. А план был такой: утереть задавке Мишке нос – переехать на Гиганте по деревянному мосту через речку Тару. Мишке это не удавалось. Конь храпел и поворачивал назад. Мишка говорил, что его пугают блики луны на воде и чёрная стена тайги.

И вот однажды выдался подходящий момент. Был выходной день. Мишкины родители пили бражку и пели народные песни. Мы вывели Гиганта из конюшни. Я вспрыгнул на него с высокого дощатого забора. И мы направились к околице. Мишка бежал рядом и повторял: «Если убьёшься, я не виноват». Уж лучше бы помалкивал. До места было ещё далеко. А меня уже пробирала дрожь. Моё состояние, наверное, передалось коню. Гигант пофыркивал и пытался перейти на рысь. Я едва сдерживал его крепко натянутыми поводьями.

Вот наконец-то спуск к речке. Светила полная луна. Дорога до моста была как на ладони.

Я давно уже решил, что не буду спускаться по склону шагом. Была не была, пуцу Гиганта рысью. Он сам перейдёт в галоп. И в галопе уже не сможет остановиться, проскочит мост. И я выиграю таким образом спор с Мишкой и утру ему нос.

Я поддал пятками под брюхо. И конь широкой рысью побежал по склону. И почти с ходу перешёл в галоп. Меня затрясло от возбуждения. Ещё сто метров – и мы на том берегу Тары. Вот и мост. Копыта стучат по толстым доскам. Мы почти проскочили мост. И тут у Гиганта сдали нервы. На всём скаку он остановился, встал на дыбы, дико заржал, одним скачком развернулся и, дрожа всем своим огромным чёрным телом, поскакал обратно. Я что было сил вцепился ему в гриву. И свалился только тогда, когда конь попал ногой в рытвину. Я оказался в зарослях конопля и репейника, а Гигант, тяжело храпя, помчался дальше. Его не могли найти весь следующий день. Мишка никому ничего не сказал. Я сам признался отцу, когда тот начал выяснять, откуда у меня ссадины на лице. Отец решил, что ему придётся платить за пропавшего коня, и здорово меня побил.

На другой день Мишка нашёл Гиганта. Кажется, отец жалел, что так вышло.

– Ну почему ты такой? – спрашивал он меня. – Почему, прежде чем что-нибудь сделать, ты не думаешь о последствиях?

Когда теперь я пытаюсь понять, каким я был в семнадцать лет, я вспоминаю случай с Гигантом. Больше всего на свете я боялся отцовского гнева. И больше всего на свете мне нравилось испытывать себя и показывать своё превосходство над другими...

* * *

Как я ни хорохорился перед матерью, страх перед отцовскими кулаками взял своё. Посидев в ресторане часа два, я засветло вернулся домой.

Семья ужинала. Перед отцом стояла бутылка водки. Обычно это означало, что он либо в самом благодушном настроении, либо до чёртиков зол. В тот вечер у него было какое-то третье расположение духа. Он предавался воспоминаниям.

– Отец мой крестьянствовал. Мать растила семерых детей, Все вышли в люди. Врачи, офицеры, инженеры. Ни у одного в биографии ни единого пятнышка. И вот – на тебе!

На глазах отца блестели слёзы. С ним это бывало. Когда он крепко выпивал, мог расчувствоваться в два счёта. Стоило ему вспомнить своё нелёгкое детство и рано умершего отца. Но сегодня он не был пьян. И я понял, что он действительно тяжело переживает случившееся.

– Я ничего от тебя не хочу, – сказал он мне. – Я хочу только понять, сознаёшь ли ты, что наделал? Сознаёшь ли ты, что испортил репутацию не только мне, не только матери, но и всей нашей фамилии? Сознаёшь ли ты, что на всю жизнь испортил собственную биографию? Знаешь ли ты, какими глазами на нас теперь смотрят люди и как нам тяжело?

Он так говорил, что у меня самого подступили слёзы. Взволновали не слова. Смысл его слов я понял гораздо позже. Взволновал тон. Если бы в тот вечер отец встретил меня руганью и кулаками, жизнь моя быстро дотекла бы по накатанной дорожке, в том же направлении. А тут я увидел отца страдающим.

В тот вечер мы мирно решили, что я перейду на работу в то строительное управление, где работал сам отец.

Гулять на улице я буду теперь только до темна и не больше двух часов в день. Остальное время буду читать, готовиться к вечерней школе. Ещё не всё потеряно, внушали мне родители. Ещё можно остановиться и начать нормальную жизнь. Закончить школу, поступить в институт. Условная судимость есть условная судимость. То есть срок, который отбывать не придётся. Но не следует забывать, что эта судимость – предупреждение. Чуть оступишься – и будешь сидеть все шесть лет, даже если другое преступление будет мельче первого.

Много лет работал отец военным строителем. Ему приходилось иметь дело с заключёнными.

– Ты даже не представляешь, что это за публика, – говорил он мне. – Ты даже не представляешь, в кого можешь там превратиться. Тебя запросто могут проиграть в карты и прирезать.

Он нажал на чувство семейного самолюбия. Действительно, кому охота быть в семье уродом? И одновременно обострил чувство самосохранения. Действительно, мало приятного стать игрушкой в чьих-то руках. Тем более там, в зоне. И я решил про себя, что надо в самом деле взяться за ум.

Я не пропуская в школе ни одного урока. И даже выдвинулся в число лучших учеников. Самое удивительное, что я стал кое-что соображать в математике. Мне даже понравилось решать задачи по геометрии. Только изредка я забегал к Димке Луценко. Не больше часа проводил в своей дворовой компании, где один из парней всё так же веселил пацанов своей поразительной способностью издавать любое заказанное количество неприличных звуков. Всё там было старо и всё уже не интересно.

В свободное время я теперь читал. Мне попала книга Льва Шейнина «Старый знакомый». И я перечитывал её снова и снова. Особенно мне нравились рассказы, где героем был лихой налётчик Лёнька Пантелеев.

Вообще-то полагалось бы сочувствовать всем, кого он ограбил. Но жирные непманы не стоили того. А простых работяг Лёнька не обижал. Полагалось переживать за тех, кто его ловил. Но я почему-то не сочувствовал милиционеру, которого застрелил при побеге этот известный в 20-е годы бандит.

Лёньке невероятно везло. То он уходил из-под самого носа у милиции. То являлся в ресторан и обирал там богатую публику. То убегал из тюрьмы. Эта невероятная

везучесть и привлекала меня больше всего. В то время мне казалось, что всё в жизни зависит от простого везения. Можно быть способным человеком, но если тебе не везёт... Можно работать, как папа Карло, но если тебе не везёт... Можно быть хорошим парнем, но если ты решишь жениться и тебе не повезёт... Эти разговоры я слышал в своей уличной компании ежедневно.

Но если бы Лёнька был только удачлив. Он ведь был ещё и по-своему благороден. По крайней мере такое впечатление возникало у меня после чтения этой книги.

Позже я узнал, что есть у психологов такое понятие – отсроченный эффект. То, что сегодня запало в память и душу, проявляется не завтра, а через длительное время. Так было и у меня.

Я любовался негодяем Лёнькой Пантелеевым. Мысленно ставил себя на его место. Надевал его костюмы. Клал в карман его пистолет. Наводил этот пистолет на ресторанных гуляк. Скупо и небрежно улыбался красивым женщинам и снисходительно ловил на себе их восхищённые взгляды... Эти грёзы стали моим излюбленным занятием. «Ты где витаешь?» – спрашивали меня те, с кем я рядом работал в ПТО строительного управления. И на душе становилось совсем тошно. Слишком резким было несоответствие между тем, что грёзилось, и тем, что окружало. Не хотелось работать. Не хотелось ни с кем разговаривать.

Во мне продолжала тлеть не до конца излеченная болезнь.

Однажды мне попала на глаза газетная статья под заголовком «Где созревает хулиган?». В ней подробно анализировалось, кто и как повлиял на подростка. И ни слова не было сказано о том, что он, этот юный хулиган, созрел ещё и внутри себя, под искажённым впечатлением неверно понятых книг, неверно воспринятых фильмов, под влиянием своих фантазий.

Нельзя сбрасывать со счетов чьё-то внешнее воздействие. Но надо ли ставить его выше внутреннего самовоздействия? Я почти убеждён, что в подавляющем большинстве случаев человек сам превращает себя в преступника. Ну, хотя бы тем, что не может отличить героя настоящего от героя ложного. Настоящую мужскую дружбу от притворной. В этих дебрях человек плутает обычно в одиночку.

Но неужели сам не чувствует, куда его несёт? Неужели нет у него безотчётной тревоги, страха за себя?

* * *

Я очнулся на вторые сутки. Один в маленькой палате. Не могу шевельнуть ни рукой, ни ногой. Всё тело сковано болью и немощью. Лежал полутрупом. С жизнью соединяли только резиновые трубки капельницы.

Пришёл хирург Купченицкий. Тот самый, что прооперировал меня ночью. Внимательно осмотрел и сказал: «Считай, хулиган, что тебе крупно повезло». Я даже не сообразил, что нужно поблагодарить спасителя. В голове было только одно: «Буду жить, буду жить».

А через несколько дней меня перевезли на каталке из реанимации в обычную палату. Там лежали в основном с переломами конечностей. Публика подобралась весёлая и общительная. Книг не читали. С утра до вечера травили анекдоты и рассказывали разные случаи. Тракторист из какого-то колхоза врал не закрывая рта.

– Пропал у свата козёл. Кругом степь. Кошке негде скрыться, не то что козлу. Решили: волк сожрал. А тут праздник. Рождество. – Выпили мы самогону. Пошёл я свата провожать. Идём через старое кладбище. Сват как провалится в яму, как заорёт. Яма глубокая, не могу вытащить свата. Побежал за верёвкой. Принёс, бросил конец свату, кричу: «Держись!». А он, видно, со страху чокнулся, смеётся и кричит: «Подожди маленько!» И что-то там в яме возится. Потом кричит: «Тащи!» Тащу. Что-то тяжело идёт. Вижу: вместо свата козёл. А козёл как заблеет! У меня волосы дыбом.

Палата ржала. А я не мог даже легонько рассмеяться.

Все внутренности сковывала непереносимая боль.

– Перестаньте! Не могу больше! – кричал я. Но получался не крик, а шёпот.

В палату пустили мать. Мать плакала. Я спрашивал у медсестры, не приходил кто-нибудь ещё. «Никто».

Ну ладно, думал я, Генке Силантьеву не до посещений. Ему неловко, что он оставил меня одного против троих. Да и как его осуждать? На год моложе меня. Ну, кто в таких делах на первых порах не дрейфит? Нет, в следующий раз Генка в беде не бросит. Не знаю, за что, но Генку я любил и зла на него не держал.

А вот то, что Димка Луценко ни разу не пришёл в больницу, – это было обидно. Обидно потому, что я наперёд знал, как встретит меня Димка, когда я выпишусь из больницы. Презрительно прищурится, сплюнет и скажет с

улыбочкой; «Стал бы я за просто так жизнью рисковать». Он и за не просто так никогда не стал бы рисковать. Не только жизнью, но и мизинцем, любой малостью. Что было противно – я всё про Димку знал, но не мог прямо ему высказать. Мы бы навсегда рассорились, расплевались. И я уже не смог бы запросто приходить в ресторан. И лишился бы чего-то такого, без чего уже не представлял полноценного существования.

Зато ко мне пришёл уполномоченный уголовного розыска и начал выспрашивать, из-за чего возникла поножовщина и знаю ли я тех, кто меня проткнул до самого позвоночника. На все вопросы я отвечал: «Не помню». Но уполномоченный не дурак. Видел, что я морочу голову. Но почему-то не стал допытываться расспросами. Заполнил протокол дознания. Попросил расписаться и сказал на прощание:

– Ты хоть знаешь, сколько из тебя вытекло крови?

На следующий день еле отмыли ресторан. Открыли только вечером. Может, ты и не виноват. Но на всякий случай учти: общепиту нанесён определённый материальный ущерб.

– Ну это? – встретил меня отец. – Переквалифицировался в хулиганы?

Я молчал.

– Неужели и после этого не остепенишься?

Я молчал.

Настроение было совсем паршивое. Самое время излить перед кем-нибудь душу. Просто пожаловаться. Просто поплакаться. Я чувствовал себя зверьком, загнанным в угол. Но откровенничать с отцом не тянуло даже в такие минуты.

Мать постелила постель. Я лёг и закрыл глаза. Отец постоял надо мной и ушёл в свою комнату.

А вечером пришёл Генка. Присел у постели. Угостил сигаретой.

– Я гад, – сказал он.

– Давай не будем, – сказал я ему.

– Я думал, ты справишься без меня, – сказал Генка. – Если бы всё было по-честному, ты бы не уступил.

После этих слов у меня сразу поднялось настроение! Никакой я не загнанный, не затравленный. Я – такой, каким и должен быть парень моих лет. Сознать это было приятно. И дело тут не в возрастных особенностях. Разве

не приятно взрослому мужчине чувствовать себя настоящим мужчиной?

Нет, Генка мне не льстил. Наверное, я тоже ему нравился. Он говорил, что думал.

Что нас объединяло? Он недавно приехал из другого города. Познакомился с парнями из нашего двора и выделил из них меня. Другие были гораздо младше, ещё учились в школе, а он уже работал. Но не это главное. Главное – то, что Генка узнал о моей судимости. Он тоже был малый с закидонами. Его тоже привлекала красивая, денежная жизнь. И он тоже хотел добиться своего не обычным путём. Он тоже считал, что ради красивой жизни можно разок-другой как следует рискнуть.

Родителям Генка понравился. Скромный, улыбчивый, вежливый. Чуть ли не каждый день он приходил с какой-нибудь новой идеей. Он работал на заводе токарем и уверял, что за станком особенно хорошо думается. Я был ещё в шоке после суда. Меня тянуло проверить какое-нибудь дельце. И в то же время я отчаянно трусил. Но старался этого не показывать. Мы целыми вечерами стояли где-нибудь в заплёванном, прокуренном подъезде и невероятно деловым тоном строили свои планы. Это так захватывало нас, что мы забывали про время. На обсуждение очередной Генкиной идеи уходило несколько вечеров. В конце я доказывал Генке, что его план неосуществим.

Подозреваю, что Генка, как и я, тоже боялся переходить от слов к делу. Но каждый из нас больше всего на свете боялся показать эту болязнь. Нам очень нравилось рисоваться друг перед другом, изображать из себя рискованных ребят. Мы не знали, что вся эта рисовка до добра не доводит. Получается что-то вроде самовнушения. В тебе начинают возникать качества, которые, прежде ты только мысленно приписывал себе. Всё чаще возникает желание пойти дальше слов. Постепенно становишься таким, каким хочешь казаться.

Вскоре я стал выходить во двор и встречаться с ребятами. И понял, что отношение ко мне немного изменилось. Во мне стали видеть жертву сильной уличной группировки – вокзальных, с которой лучше не связываться. Один раз мне досталось, второй. Теперь третий. Чем дальше, тем серьёзней последствия, «Прибьют тебя», – говорили ребята. «И тебя заодно», – говорили Генке. Генка небрежно сплёвывал и показывал в улыбке два ряда безупречных

зубов. А у меня кошки на душе скребли: «Ведь и правда могут прибить». И я чувствовал: если ещё раз здорово достанется, в глазах ребят я буду просто смешным.

Любой трезво мыслящий парень не стал бы на моём месте лезть на рожон. Отсиделся бы дома. Общался бы только с ребятами своего двора. А там через несколько месяцев – армия. Ну а после армии совсем другая, серьёзная взрослая жизнь.

А я буквально лез к чёрту на рога.

Через две недели мне сняли швы. Для того чтобы добраться до перерезанных потрохов и зашить их, Купченицкому пришлось изрядно поработать скальпелем. Шрам остался такой, словно мне делали операцию желудка. «Лучше бы такой шрам был на лице», – подумал я, разглядывая себя в зеркало. Было очень почётно иметь на лице какую-нибудь отметину. Существовало несколько степеней такого рода отличия. Первая степень была от удара бляхой или кастетом. Вторая степень – от ножа или арматуры. Третья степень – от бритвы.

Конечно, лучше, когда все знаки доблести на твоей физиономии, думал я. Это что-то вроде пароля: ребята, я свой, битый, и не абы как, а по большому счёту. Правда, среди самой шпаны шрамы особого уважения не вызывают. Они сами могут показать сколько угодно отметин. Но таких не очень много. Большинство уличных пацанов не очень-то подставляются. А в групповые драки вообще не лезут. И правильно делают. Можно отдать жизнь ни за что ни про что.

* * *

Пришёл Генка, как всегда тщательно умытый, отглаженный. Оглядел меня весёлыми глазами и предложил пойти на танцы. И не куда-нибудь, а в драмтеатр.

Драмтеатр в нашем городе был неплохой. Сам я смотрел постановки всего два-три раза. И то вместе с классом. О спектаклях ничего не мог сказать. А артисты мне нравились. Их фотографии висели на стене в фойе. Все артисты были красивыми. И я был уверен, что красивые артисты не могут плохо играть. Но то ли труппа в театре была на самом деле слабая, то ли театру, несмотря на хорошую посещаемость зрителей, всё равно нужны были деньги, только один раз в неделю в фойе устраивались платные танцевальные вечера с буфетом.

В других клубах танцы проходили под радиолю или

под магнитофонные записи. В театре же играл эстрадный оркестр. В других клубах парни распивали где-нибудь в укромном углу или в туалете. А в театре всегда работал хороший буфет. В общем, в театре давались танцы как бы по высшему разряду. И сюда старались попасть самые симпатичные девушки со всего города. Стать завсегдатаем этих вечеров было мечтой всякого уважающего себя парня. Только не всякий мог себе это позволить.

Мне было четырнадцать лет, когда родители переехали в Павлодар. Поселились мы на квартире в центре города. И я пошёл в ближайший кинотеатр «Ударник». Встал в очередь за билетами. И тут ко мне подошёл пацан моих лет и отозвал в сторону. А в сторонке уже стояли ещё несколько пацанов. Меня окружили: «А ну, гони монеты!» Я рванул. Но увидел перед собой остро отточенные велосипедные спицы. Пришлось вывернуть карманы.

Пацаны, которые отирались возле «Ударника», считались в городе самыми опасными. Самым опасным считался и взростяк центровых. Ну, а драмтеатр... Драмтеатр стоял рядом с «Ударником».

Это в тридцать лет можно сидеть дома, читать книги, смотреть телек, писать диссертацию, чинить утюг, переставлять мебель. Но когда ты ещё подросток, ты ещё не ушёл в личную жизнь. Ты ещё ведёшь жизнь публичную, то есть уличную. И тебе очень важно, где ты можешь бывать. У нас с Генкой не было своей зоны влияния, кроме своего двора. И мы вынуждены были бывать там, где нас, как говорится, не ждали.

У Генки девчонки не было. И в знак солидарности я решил идти в драмтеатр без Лиды, с которой мы вместе работали и по вечерам частенько гуляли. На всякий случай. Мы всё же шли как бы в разведку. Всё могло случиться. А мне надоело быть битым на глазах у своей девчонки. Правда, Генка немного меня успокоил. Признался, что работает на заводе с ребятами, которые живут в центре. Они тоже будут сегодня на танцах. Так: что в обиду не дадут! Наивные, мы не знали, что права на этих вечерах качают не те, у кого руки пахнут машинным маслом. Верховодил в центре Алихан Пугоев. Круглое лето он торчал на пляже. А по вечерам его можно было увидеть в ресторане, где работал Димка. Или в драмтеатре. Или в «Дунькином» клубе. Так назывался небольшой клуб при заводе, где трудился Генка.

Проклятая влюбчивость! Кажется, ещё вчера клялся в любви Лиде. И не просто клялся. Действительно, чувствовал,

что люблю. А в тот вечер, едва вошёл в драмтеатр и увидел Вальку Золотову, забыл и про Лиду, и про то, что мне грозит, если осмелюсь пригласить Вальку на танец.

Золотова закончила восемь классов и устроилась ученицей в дамскую парикмахерскую. Но летом она, кажется, почти не работала. Её постоянно можно было увидеть на пляже в окружении подружек. А точнее – фрейлин. Валька считалась королевой.

Как и полагается королеве, она была недурна собой. Можно даже сказать – красива. В её смуглом лице, карих глазах, полных чувственных губах и гибком округлом теле было что-то восточное. А когда она раздевалась на пляже, парни застывали с раскрытыми ртами. Точёная фигура, округлостью форм напоминающая фигуру индийской девушки. И к тому же загар. Можно было подумать, что Валька загорала не на берегу Иртыша, а на побережье Чёрного моря.

Наверное, я был страшно примитивным. Я не задумывался, какие у девчонки интересы, какая у неё душа. Главным для меня было лицо, фигура. Если красиво, значит хорошо. А если к тому же девчонка одевалась по последней моде, ещё лучше.

Золотова стояла на своём обычном месте, рядом с эстрадой, в окружении фрейлин. Надменно приподняв подбородок, она оглядывала зал. Сколько взглядов она ловила на себе! Каждого, кто шёл в её сторону, она оглядывала с головы до ног. Как одет. Во что обут. Какого роста. И если видела, что парень направляется именно к ней, чтобы пригласить её на танец, она заранее давала ему понять, что он может нарваться на отказ. Делала это очень просто. Отворачивалась и что-то говорила своим фрейлинам. Это было очень великодушно с её стороны.

Я пошёл после того, как она отказала таким манером двоим. Генка остался наблюдать. Заученным движением Валька положила обе руки на плечи и прижалась всем телом. Так она танцевала со всеми. И парни после одного такого танца, как поётся в песне, без вина были пьяны. Теперь я сам чувствовал, что это такое – держать в объятиях королеву центровых. От жара её тела можно было свариться живьём.

– Давно выписался? – заговорила она первой и таким тоном, будто мы были уже знакомы.

Громко рассмеялась, видя моё удивление. И объяснила:

– Я видела тебя в кабаке. Ты мне понравился. Если хочешь, станцую следующий танец.

Я не возражал. Но понял, что теперь-то этот вечер добром для меня не кончится. Каждого нового парня Золотовой выводили из драмтеатра или с танцплощадки и испытывали на верность вспыхнувшему чувству. Если побитый упорно возвращался на танцы, не стыдясь показать свои фингалы, Валька подходила к Алихану и что-то ему говорила. Если Алихан был в хорошем настроении, он изображал что-то вроде улыбки. И новый поклонник вёл короля центровых в буфет. Но как только Валька охладевала к очередному поклоннику, его неприкосновенность отменялась одним выражением её лица. Никто не считал, скольких парней побили из-за неё и скольких порезали. Ясно было только одно. Парней Валька меняла чуть ли не каждую неделю.

Для меня, бледного и отощавшего, кажется, было сделано исключение.

- У тебя есть деньги на кабак? – прямо спросила Валька.
- Смотря сколько нас будет, – ответил я.
- Пятеро. Плюс твой друг.
- Попробуем наскрести.

Валька подвела меня к буфету, где стоял Алихан, и что-то шепнула ему на ухо. Алихан повернулся ко мне, и я впервые его разглядел. Он был постарше меня, плотнее, повыше ростом. Полный рот золотых коронок. Седина в чёрных волосах. Мутные белки глаз. Усталый немигающий взгляд. Сиплый голос. Тяжёлая, большая и вялая ладонь. Он протянул мне её без пожатия и издал какой-то нечленораздельный звук. Ну что ж, он мог не называть себя и не пожимать мне руку. Его все знали в лицо. А некоторым, чтобы подчеркнуть своё презрение, Алихан вообще совал в ладонь (здороваясь или знакомясь) два пальца.

- Значит, угощаешь? – спросил Алихан.
- Поехали, – сказал я.

Денег у меня было – кот наплакал. Но я был уверен, что лабухи подкинут. Или в крайнем случае Зоя накроет стол в долг.

Алихан взял с собой Брита. Так звали ближайшего его приятеля. Брит славился тем, что в серьёзных драках вынимал из кармана опасную бритву и пускал её в ход без малейших колебаний. У него самого через всю щёку тянулся длинный и широкий шрам. Он на себе попробовал чьё-то лезвие. То ли ему понравилось. То ли после того случая он совсем озверел. Кто знает?

Я во всяком случае в тот вечер особенно не задумывался, в какое общество затесался. И не чувствовал никакой тревоги. Напротив, меня прямо-таки распирало от чувства гордости. Генка тоже сиял, как надраенный пятак. Он тоже понимал, что наступает другая полоса жизни.

Он сбежал за такси. Надо было как-то уместиться в машине вшестером. Алихан уступил переднее сиденье Вальке. Широким жестом предложил остальным занять заднее сиденье. А потом с гоготом втиснулся сам. Места уже не было. И он уселся всей своей тушей мне на колени. Мне это, конечно, не понравилось. Но что делать? Ради того, что открывалось перед нами, можно было стерпеть такое неудобство.

А открывалось многое, тут же, немедленно. Увидев меня в компании Алихана, лабухи живо скинулись по червонцу. Когда я сказал им, что беру, разумеется, в долг, на меня набросились с упрёками. Какие могут быть счёты?! Димка шепнул, чтобы я пригласил его к столику. Вообще-то это не принято – приглашать оркестранта к столу. Но он не мог упустить случай познакомиться со столь высокопоставленной шпаной. Зоя цвела и пахла. Принесла такие блюда, каких в меню и в помине не было.

Такое внимание в свою очередь сыграло свою роль. Алихан и Брит смотрели на меня почти с уважением. Так даже их не принимали в этом ресторане. Сёстры Золотовы (Валька прихватила с собой сестру Райку, подружку Брита) тоже чувствовали себя в центре внимания. Я подмигнул Димке. И следующий танец лабухи сыграли в честь нашей компании. Через час Брит лез ко мне целоваться и орал:

– Покажи мне, кто тебя порезал!

– Пусть тебя теперь хоть пальцем тронут! – сказал Алихан.

– Ты даже не представляешь, как мне хорошо, – сказала Валька, когда мы пошли танцевать.

И хотя эта фраза прозвучала у неё довольно заучено, я был на седьмом небе.

Парень за соседним столиком посматривал в нашу сторону. Его лицо не понравилось Алихану. Алихан притянул Генку за ворот рубашки:

– Скажи этому фраеру, пусть убирается.

Генка встал, исполнил приказ. Парень быстро рассчитался и исчез. Я видел, что Генку распирает то же чувство, что и меня. Мы своё отбоялись. Теперь будут бояться нас.

В тот вечер я вошёл в раж и, что называется, сорил деньгами. Сумма набежала небольшая. Что-то около полусотни. Но для меня в ту пору это были большие деньги. А у моих собутыльников создалось другое впечатление. Либо я сынок состоятельных родителей, либо проворачиваю какие-то делишки. Значит, решили они про себя, этого фраера надо приблизить и доить из него денежки. Пить и гулять за его счёт. Таких «доноров» у них было немало. Но никто не бывает в этом смысле лишним. Вечер закончился тем, что меня пригласили провести вместе завтрашний день. Позагорать на пляже, потом пообедать в ресторане, а вечером пойти на танцы. Вполне светская программа.

Где раздобыть денег? Как уйти с работы? С этими вопросами я лёг спать.

Мог ли я тогда остановиться? Думаю, что нет, по крайней мере, сам уже не мог. Понимал ли, что качусь на дно? Трудно сказать. Я не давал себе труда размышлять над этим. Я принял «правила игры этой компании и не мог нарушить их, хотя и считал себя достаточно смелым и даже подумывал о мести Синеглазому, из-за которого чуть не отправился на тот свет. Но у меня не хватало смелости и воли трезво оценить свои действия.

Наутро я взял из известной мне родительской заначки несколько десятирублёвок. На работе сказал, что разболелся зуб. И ровно в десять утра был на пляже.

Сёстры Золотовы были уже там. Они предпочитали утренние солнечные лучи. Алихан и Брит задерживались. Но часть бражки уже заняла своё место вокруг грибка.

Этот грибок стоял в центре пляжа. И вокруг него создавалась невидимая граница. Сведущие знали, что устраиваться ближе двадцати метров небезопасно. Несведущих предупреждали по-хорошему. Тех, кто пытался протестовать, отгоняли пинками и зуботычинами. Никто не должен был сидеть и слышать того, что происходило рядом с грибком.

Там, в приятной тени, располагался центрровой взросляк. Там распивали вино, играли в карты, вели весёлые разговоры лучшие люди улицы. Сюда приносили свою ученическую добычу мальцы. Они шныряли по пляжу, высматривали, у кого есть пользующаяся повышенным спросом одёжка или обувка, выжидали, когда владелец пойдёт купаться, и вводили добычу под грибок взросляка. Так создавался фонд для обедов и ужинов в ресторанах.

Раньше я не раз наблюдал за этим грибом. Странное дело, эту малину никто не разгонял. И невольно в голову приходила мысль: значит, центровые действительно сильны, если с ними считается, предпочитает не трогать даже милиция.

Однажды, правда, двое мужчин в штатском, показывая удостоверение, пытались пробиться к грибку. Но шестёрки разом поднялись, закрыли взросляк. И когда оперативники пробились к грибку, там уже не было тех, кого они искали.

Валька увидела меня и помахала рукой. Я разделся, лёг рядом, и мы начали обсуждать вчерашний вечер. Точнее, говорила Валька, а я слушал. Кто как был одет. Кто как выглядел. Кто кого пригласил на танец. Кто кому отказал. Кто к кому придрался. Кто кому врезал. Кого выпихнули с танцев. У кого новый парень. У кого новая девчонка.

Мы обсуждали эти животрепещущие темы около часа. Пока всем не перемыли косточки. А потом нашу светскую беседу как отрезало. Больше Валька не знала, о чём говорить. А я соображал, какую бы тему ещё обсудить. Но ничего путного не придумал. И бестолково молчал. С тоской думал о Лиде. С ней таких заминок в разговоре не было. С ней не было так тягостно оттого, что не о чем говорить. Когда нам нечем было поделиться, мы говорили о работе. О людях, которые работали вместе с нами. С Лидой меня объединяла работа. С Валькой было только одно общее – развлечение.

Валька нашлась быстрее меня. Она придвинулась поближе, накрыла свою и мою голову широкополой соломенной шляпой, и мы начали целоваться. Кажется, к любви-то у нас было одинаковое отношение. Одна физиология и ничего больше. А Лиде требовалось ещё что-то. Что именно, я никак не понимал.

Неожиданно кто-то сорвал с нас шляпу. И мы услышали сиплый голос Алихана. Он отпустил плоскую шуточку. Мол, не могли уединиться в другом месте и заняться чем-нибудь поинтереснее. Меня это покорило. А Валька не обиделась. Видно, в том кругу такие шуточки были в порядке вещей. Стоило ли мне лезть в бутылку?

Алихан позвал меня к грибку. Там уже были Брит и ещё трое-четверо. Все заспанные, опухшие. Обсудили, кто какую дозу вчера принял. Кто кого вырубил. Кто с кем

пошёл спать. Кажется, об этом они могли трепаться бесконечно. Но близилось время обеда. На пляже пока было негусто. Шестёрки пока ничего не принесли. Нужно было решать, за чей счёт сегодня пообедать в ресторане. В ловких пальцах Брита появилась колода карт.

Это была трудная минута. Признаться, что не играешь в «буру» или «секу»? Сразу проиграешь в авторитете. Играть, делая вид, что умеешь? Парни ушлые, сразу поймут. Да и просадишь все деньги в один миг.

– В преф я бы сыграл, – сказал я, хотя и в преферанс играл слабо.

Алихан взглянул на часы.

– Скоро придет Адам. Тогда и пулечку распишем. А с этими носорогами разве сыграешь?

Обидчивый Брит на этот раз почему-то не вспылал. Только стрельнул в мою сторону хитрым глазом. Он-то понимал, к чему ведёт Алихан. Догадывался и я.

Адам был старшим братом Алихана. Он появлялся на пляже ровно в одиннадцать. И без того загорелый до черноты, он, вероятно, хотел, чтобы выгоднее выделялись на фоне тела его волосы. Ему было не больше тридцати. Но он был совершенно седой. Седина, молодое лицо, загорелое тело. Он выглядел невероятно эффектно. Плюс ко всему ездил на собственной «Волге». Никто не знал, чем занимается Адам. Говорили, что работает в торговле, на каком-то складе. Ещё говорили, что у него кругом связи, свои люди. Сколько раз Алихана забирали в милицию за хулиганство! Сколько его приближённых отправились в места не столь отдалённые. А сам Алихан больше двух-трёх суток ещё не сидел. Кто выручает? Конечно, Адам.

В тот день мне везло. Деньгами разжился. С работы слинял. От карт отвертелся. И Адам не приехал. Ему бы я наверняка всё проиграл.

От Адама приехал парень, передал сумку с едой и сказал, что «сам» будет вечером в драмтеатре. Еда была дефицитная и дорогая. Я дал денег. Алихан поманил шестёрку. Тот принёс вина. Хорошо выпили, плотно закусили, легли подремать. Но дремать долго не пришлось. Послышался девчоночий крик: «Помогите!»

Мы кое-как разлепили глаза.

– Кто-то тонет, – сказал Брит.

– Нехай тонет, – просипел Алихан.

Я привстал.

– Лежи, – лениво сказал Алихан. – Кому надо, те спасут.

- Ни одной спасательной шлюпки, – сказал я.
- Лежи, – лениво сказал Алихан. – Кому надо, те видят.
- Помо...гите! – слышался захлёбывающийся крик.

Девчонка тонула в пятидесяти метрах от нас. Чего её занесло за буи, на такое расстояние? В одиночку её трудно было бы дотащить до берега. Вот если двоим-троим разом броситься на помощь... Но Алихана разморило от вина и вкусной еды. Ему не хотелось ни самому лезть в воду, ни руководить спасением.

–...гите!– послышалось в последний раз.

И больше голова девчонки не появлялась на поверхности воды. Меня зазнобило. Зазнобило до такой степени, что застучали зубы.

– Конец! – торжественно сказал кто-то из шестёрок.

Слово было другое. Но по звучанию и смыслу похожее.

Сколько было в те летние дни переломных моментов! Но этот можно считать главным. Не мальчик, я уже понимал, что такое хорошо и что такое плохо. Мне бы встать в ту минуту... Нет, не надо было бросать в лицо Алихану никаких слов. Я был виноват в гибели девчонки не меньше его. Надо было подняться и бежать к спасателям. Не дожидаясь, пока это сделает кто-то другой. Я мог ещё спасти не только девчонку, но и самого себя. Что-то очень важное в себе, определяющее всю последующую жизнь

Но вместо меня кто-то уже сбегал к зазевавшимся спасателям. Уже взревели лодочные моторы у вышки. Уже неслись к месту гибели девчонки люди с флагами. Уже весь пляж поднялся и выбежал к воде. Уже ныряли с лодок водолазы. Даже алихановские и бритовские шестёрки оставили свои обычные позиции охранения. Только Алихан, Брит и ещё несколько... не знаю, как нас всех назвать... приподнялись на локтях и перебрасывались плоскими шуточками.

Ладно, не бросился я к спасателям. Но встать и уйти от этой страшной компании я ведь мог. Но такая мысль даже не шевельнулась в моей голове. Видно, не было уже во мне того, что помогает человеку быть твёрдым и решительным ради всего чистого и святого в самом себе.

А ближе к вечеру, когда я пришёл домой переодеться, позвонила Лида.

– Вчера тебя видели в драмтеатре. Говорят, ты был не один.

Вот и пойми её. Обивал пороги – строила из себя недотрогу. Едва перестал приходить – звонит сама. Да ещё претензии. Тон, конечно, беспечный, шуточный. Вроде ей всё равно.

– Говорят, ты стал в центре своим. Может, пригласишь меня сегодня? Я не буду тебе мешать. В конце концов можешь сказать, что я пришла не с тобой, а с Генкой.

Валька и в самом деле подумала, что Лида пришла с Генкой. Я немного поволновался. Но Лида улыбалась. Генка тоже был почти счастлив. Заиграл оркестр. Валька ухватила меня за локоть и потянула в круг танцующих. Этот жест не прошёл мимо внимания Лиды. Она опустила глаза и усмехнулась.

Я видел, как Генка приглашал Лиду. Но она стояла с застывшим лицом. Изредка посматривала в мою сторону. И я ловил глазами такие молнии, что мне стало не по себе. А потом... Потом перед Лидой неожиданно возник Адам. Адам уверенным движением, взял Лиду за локоть и повлёк за собой в гущу танцующих. И Лида пошла.

Адам был опытным кавалером. У него был наготове целый набор фраз, необходимых для завязки разговора. И вообще он был очень уверен в себе. А девчонки таких любят. У него был неплохо подвешен язык. И через несколько секунд я увидел, что Лида уже улыбается. Ещё через полминуты я увидел её хохочущей. А Адам всё плотнее прижимал её к себе. И она, с её-то правилами, совсем не сопротивлялась.

После танца они ушли в буфет. Я потянул туда Вальку. Подошёл Алихан, познакомил меня с Адамом. Впятером мы сидели за одним столиком. Валька ненатурально хохотала и ревниво посматривала на Лиду. Я готов был спорить, что Валька уже побывала в руках Адама. Не могла не побывать. Лида тоже смеялась над каждым словом любого из нас. Только я ни разу не поймал её взгляда.

А мне нужно было предупредить её хотя бы взглядом. Неужели женское предчувствие ничего ей не подсказывало? Мне нужно было отозвать её в сторонку и сказать всё, что я думал. Неважно, прислушалась бы она или нет, но это нужно было сделать. А я сидел и думал: «А вдруг она скажет Адаму то, что скажу ей я? Что тогда будет со мной?» Мне бы подумать тогда о том, что я и её тяну на то же дно, на которое опускаюсь сам. А я всё больше думал только о себе.

Адам предложил пойти в Дунькин клуб. Это совсем рядом. Через дорогу перейти. Там сегодня новые магнитофонные записи. Лида тотчас согла-

силась. Наверное, она видеть меня не могла. И я бы скорее всего не пошёл. Но вмешалась Валька. «Мы тоже пойдём», – заявила она, дерзко глядя в глаза Адаму. Что-то подсказывало мне, что завязывается тугой клубок, который сам по себе не развяжется. Кто-то будет очень жалеть об этом вечере.

В Дунькином клубе было всего человек сто. Но зато здесь были только свои. Здесь пили и курили не таясь. В углу возле сцены толкалась перебившаяся шпана. Все как один в чёрных перчатках. А Брит уже скандалил с высоким черноволосым парнем.

– Из-за Райки лаютя, – шепнула мне Валька. – Та тоже хороша. То с одним ходит, то с другим.

– Разве ты не сталкиваешь парней лбами? – спросил я её.

– Раньше мне нравилось, что из-за меня дерутся, – сказала Валька. – А потом надоело. Это неинтеллигентно.

– Сколько же раз из-за тебя дрались?

– Не считала.

Вальке был не по душе этот разговор. Она отвернулась и смотрела туда, где танцевали Лида и Адам.

– Хорошая пара, правда? – спросил я.

– Пара! – фыркнула Валька. – У Адама принцип: новая неделя – новая девка.

– У нас с тобой надолго, как считаешь?

– Это будет зависеть от тебя.

«Пока у меня будут деньги?» – хотел я спросить. Но не стал. Поссоровшись с Валькой, я уже не мог бы чувствовать себя спокойно среди центральных.

Я снова ощутил противное состояние ненадёжности своего положения. Только теперь было ещё противней. Потому что многое стало зависеть от Вальки, от её отношения ко мне. Парней у неё было не меньше, чем у Адама девчонок. И обращалась она с ними, едва на глаза попадался другой кандидат в фавориты, очень просто. Только кивала в сторону отвергнутого поклонника, и свора малолеток с азартом набрасывалась на жертву.

Для того чтобы не попасть в такое положение, нужно было стать поближе к Алихану или хотя бы к Бриту. А для этого нужно было стать активным участником их походов. Принять участие в драках я не мог. На левую руку не было никакой надежды. А одной правой не помашешь. Ну и живот. Если кто-нибудь врезал бы мне ногой... Купченицкий предупредил – это будет конец. Спайки сростутся очень не скоро. В общем, я мог утвер-

даться в глазах центровых как угодно, только не в потасовках. И уже тогда, в Дунькином клубе, подумывал, какой же найти выход из положения.

* * *

С этого дня жизнь стала похожа на вращающуюся с бешеной скоростью карусель. Уже кружится голова, уже подступает к горлу тошнота, но уже нельзя остановить карусель, нельзя спрыгнуть с неё, не сломав шеи.

Работа тяготила меня всё больше. Каждый день начинался с мысли: скорей бы на пляж. Я по-прежнему отдавал матери все деньги, оставляя себе только на сигареты. По-прежнему просил у неё на кино. Нет ничего хорошего в том, что подросток все заработанные деньги тратит только на свои удовольствия, а кормить и одевать его продолжают родители. Но когда подросток вообще не имеет карманных денег... Короче говоря, работа казалась мне чуть ли не рабством, особенно после, того, как я стал вращаться среди парней, которые имели деньги постоянно, причём такие суммы, каких я в руках не держал. Наконец, просто немислимо было сохранить отношения с Валькой Золотовой, имея только на сигареты и кино.

Брит помирился с Райкой. И поскольку сёстры были почти неразлучны, мы проводили теперь все вечера вчетвером. Подвыпив, Брит становился невероятно болтлив. То и дело повторял, что он провернул одно дело и теперь может кутить чуть ли не месяц. Пока не кончатся деньги. Или пока не заметёт милиция. Райка толкала Брита ногой. Но он и без предупреждений знал, до каких пределов распускать язык. Ни тогда, ни после я так и не понял, чем он занимается. Из его хвастовства я извлёк только один вывод. Нужно плевать на все последствия и жить одним днём. Если вычислять, как тебя могут поймать, то никогда ни на что не решишься и будешь всю жизнь считать копейки.

А потом Брит преподавал мне урок наглости и хладнокровия. Однажды мы шли с танцев. Улица была хорошо освещена. Проезжали машины. Сновали прохожие. Но это не смутило Брита. Он пристроился к пьяному. Закинул его левую руку себе на плечо, прикинулся соседом и пообещал довести до дому. Мужик оставил в кафе часть получки. Остальные деньги у него вытащил Брит. Мы

шли сзади: Валька, Райка и я. И восхищались находчивостью и хладнокровием Брита. Всё, что он проделывал с пьяным мужиком, выглядело в наших глазах не наглым ограблением, а чем-то вроде трюка. Как говорится, ловкость рук и никакого мошенничества.

А через день мы зашли в магазин культтоваров, чтобы купить вновь поступившие пластинки. Стекло витрины, где лежали ручные часы, было расколото. Щель была узкой. Но если не спешить, не нервничать, можно просунуть ладонь и вытащить часы. Брит подбодрил меня взглядом. И я, собрав в кулак все нервы, решился. Продавец могла в любой миг бросить взгляд в мою сторону. Это Брит предусмотрел. Он подошёл к продавцу и завёл с ней разговор. Тем самым он как бы начал операцию. Попробовал бы я не решиться.

Потом я не раз читал в газетах: такой-то подросток попал в плен к улице. Не могу ничего говорить о других. Скажу о себе. Если я попал в плен, то только в плен собственного стремления утвердить себя в глазах тех, чьего осуждения я боялся. В любой день и в любую минуту я мог отбиться от уличной стаи и жить, зная только самого себя. И если бы я это сделал, никто не преследовал бы меня за измену или какое-то отступничество. Никто не пытался бы удержать меня в плену. Но и своим парнем в той среде, откуда ушёл, я бы уже не был. А быть не своим почти всегда означает стать чужим. В этом, наверное, и заключается смысл уличного плена.

Я просунул ладонь в щель, как в капкан. Если бы в это мгновение продавец взглянула в мою сторону, я, при всей своей неплохой реакции, не сумел бы вытащить руку обратно одним движением. Только потом, когда всё обошлось и я мысленно прокручивал в памяти эту сцену, я понял, что вовсе не случайно Брит не стал демонстрировать ловкость своих рук. Это была почти стопроцентная ловушка. Брит сам это подтвердил. Когда мы вышли из магазина, он взял протянутые мной часы и сказал: «А нервишки у тебя что надо».

Я гордился собой. Наверное, что-то похожее испытывает начинающий карьерист. У меня в самом деле получилось что-то вроде уличной карьеры. Нечаянно я сразу угодил в самые верхи и теперь уверенно там закрепился.

Это было, конечно, неверное впечатление. Как бы я ни лез из кожи вон, мне никогда не удалось бы встать вровень с тем же Бритом. В уличной иерархии редко возникают вакансии. Пусть кого-то посадили. Пусть кого-то

прирезали. Но освободившееся место никогда не займёт новичок со стороны. Выскочку тут же осадят ребята, которые выросли рядом с шишкарями.

Самое большое, на что я мог рассчитывать – стать для главарей приятелем со стороны. Я понял это не сразу, А поняв, нашёл в этом положении свои преимущества. Мной никто не мог помыкать. Я никому и ничем не был обязан. Правда, центровые едва ли пошли бы мстить за меня вокзальным, случись тем снова встретить меня на узкой дорожке. Но вокзальные уже видели меня в компании Алихана и Брита. И этого для них было достаточно. Никто из них не стал выяснять, кем я прихожусь для центровых. Достаточно, что постоянно трусь возле главарей. Вокзальные могли драться с затонскими, враждовать с группировками других районов. Только не с центровыми. Это было им не по зубам. В общем теперь я чувствовал себя в своём районе в относительной безопасности. Выходя из кинотеатра «Октябрь», где постоянно собирались вокзальные, я ловил на себе не очень ласковые взгляды. Но никто не задирает словом. Никто не преграждал дорогу. Первое время даже не верилось, что со мной стали считаться. Чтобы убедиться в этом, я предложил Генке пойти в железнодорожный клуб. Мы пробыли там больше часа. Шпана нас видела. Видел и мой старый знакомый Синеглазый. Точнее, он сначала сделал вид, что не видит. Не мог же он, при его ненависти ко мне, показать, что он видит, как я свободно разгуливаю в его вотчине. Я торжествующе посмотрел на Синеглазого. На этот раз телепатия сработала. Синеглазый встретил мой взгляд. И я понял, что мне до него ещё далеко. Я ещё не мог так смотреть на ненавистного мне человека. И всё же я был уверен, что Синеглазый мне теперь уже не страшен: Плохо же я его знал.

Впрочем, я плохо знал не только Синеглазого. Чтобы правильно понимать шпанюков и угадывать исходящую от них угрозу, нужно самому быть воспитанным улицей. А у меня на физиономии было написано что-то такое... Трудно найти подходящее слово. Всё же приходится говорить о своей внешности. Короче, пай-мальчиком я не выглядел, но было в моём облике что-то интеллигентское. Я смотрел на людей открытым доброжелательным взглядом. Ходил спортивной походкой. Изъяснялся без мата.

В моём внешнем виде не было ничего от шпанюка или тем более от преступника.

Эта особенность была отлично использована тогда, в магазине. Продащица сосредоточилась на уголовной роже Брита. А на меня даже не взглянула. Потом Брит пользовался этим не раз.

Это было в Дунькином клубе, Брит снова разругался с Рогулей. Ещё мгновение – и они схватились бы за ножи. Но тут «Атас, мусора!» пронеслось среди парней. Милиционеры были уже рядом. В таких случаях они вели всех подозрительных в дежурную комнату и там обыскивали. Я стоял вплотную к Бриту и почувствовал, как он суёт мне в руку финку. Я взял финку, но не стал тут же уносить ноги. Стоял и спокойно смотрел на милиционеров. Те ощупали карманы Брита и Рогули тут же, не отводя в комнату администратора. Осмотрели ещё кое-кого из парней уголовного вида, стоявших рядом. А по мне только прошлись глазами.

– Возьми себе, дарю, – сказал Брит, когда я хотел вернуть ему финку.

И теперь я стал носить её в кармане постоянно. Так же, как носовой платок.

Кажется, я всё больше нравился Бриту. Теперь он брал меня с собой даже на встречи с освободившимися. Знакомил с коротко остриженными парнями, которые говорили на таком жаргоне, что я разбирал только каждое третье слово. «В честь нашего гостя Толика, вернувшегося из длительной командировки, исполняем песню Вертинского «Журавли», – объявлял в микрофон Димка. И Толик, сидевший за нашим столиком, подзывал Зою и просил отнести музыкантам червонец. С этими коротко остриженными парнями Брит был уже не тот, что со мной. И тон у него был другой. И сам он казался ещё ниже ростом, чем был. А меня те парни не достаивали даже взглядом. Сначала мне казалось, что я просто чем-то им не нравлюсь. А потом понял, что они и на своего кореша Брита, и на всех окружающих людей смотрят одинаково – тяжёлым, остановившимся, презрительным взглядом.

И мне, страдающему от своей неподходящей внешности, эти взгляды понравились. Я решил перенять эту манеру смотреть на людей тяжело и презрительно. Это был как бы взгляд в одну точку. Дома я вбил в стену большой гвоздь и подолгу лежал, уставившись в шляпку гвоздя. Через несколько недель Генка сказал: «Слушай, от тебя люди ещё не шарахаются?»

Мне показалось, что он по своему обыкновению решил сказать мне приятное. Но однажды, проводив Вальку, я возвращался домой. Был под градусом, меня шатало. И вот – навстречу женщина с авоськой. Она возникла из темноты неожиданно. От удивления я остановился. И неожиданно услышал:

– Ну сколько тебе надо? Вот всё, что есть. Возьми, только отпусти меня.

Женщина совала мне деньги.

– За кого вы меня принимаете? – со смехом спросил я.

– За разбойника. За кого же ещё?– ответила женщина.– Ишь, смотришь-то как! Перекреститься охота.

Я расхохотался. А женщина засемила дальше. До меня доносился её дрожащий голос:

– Ишь, бандюга! Ах, бандюга! Не всю совесть ещё потерял.

Дома я долго разглядывал себя в зеркало. Чёрт возьми, у меня в самом деле сделался какой-то другой, не слишком приятный взгляд. Только от воя ли? Может, от всей жизни, которую теперь вёл?

Перемены во мне заметила и Валька.

– Мне осточертели наши хамы, – сказала она мне. – Их тупые рожи, их плоские шуточки. Хочется интеллигентного общения. Когда мы познакомились, ты был другим. Тогда ты мне больше нравился.

– С кем поведёшься... – усмехнулся я.

– А своего характера у тебя нет?

Я не верил своим ушам. Валька Золотова учить меня уму-разуму!

– Присмотрись к Адаму, – продолжала она. – Какая у него речь! Как интеллигентно он смотрит на девчонок! Как он разговаривает с любым человеком! Спокойно, культурно, мягко. Он ещё не влип ни в одно грязное дело, а сколько у него денег и какое влияние! Вот кого тебе надо держаться, а не этого подонка Брита. С ним ты рано или поздно плохо кончишь. Хочешь, я попрошу Адама и он тебя куда-нибудь пристроит?

– Куда именно?

– Туда, где можно делать деньги и не попадаться. Я рассмеялся тогда в лицо Вальке. Всё, что было на ней, было куплено или пошито на грязные деньги. Она меняла наряды ежедневно. Такой гардероб не могла иметь ученица парикмахера. Не исключено, что платья и туфли

были с пляжа, краденые. И совершенно точно, что она гуляла только с теми парнями, с которых могла что-то иметь. И вот она пыталась меня образумить и даже остановить. Никто в то время этого не делал. Потому что никто не видел, как я кручусь на своей бешеной карусели. Может быть, я бы и прислушался к словам Вальки. Если бы она призывала вообще остановиться, завязать. Но ведь она советовала лишь переквалифицироваться. И страшно оскорбилась, когда я сказал, что моя грубая уголовщина едва ли хуже respectableного делячества Адама.

Несмотря на возраст (Вальке было тогда всего семнадцать), она мыслила очень практично. А я в свои восемнадцать лет ещё витал в облаках романтики. Правда, это была грязная, уголовная романтика. Но мне-то она в ту пору грязной не казалась.

Тот разговор задел меня за живое. И я решил узнать, чем же занимается Адам. Во время очередной совместной выпивки лабухи открыли мне глаза. Оказалось, Адам работал обыкновенным экспедитором в тресте столовых и ресторанов. Невелика шишка. Можно сказать, прыщик на ровном месте. Он брал в магазине несколько ящиков водки и коньяка и передавал в рестораны, где спиртное шло по другой, повышенной цене. От одной только этой операции Адам клал себе в карман немалые деньги.

Лабухи – народ наблюдательный. Они приметили, в каком окружении Адам кутил обычно в ресторане. Это были бармены из кафе и баров, товароведы, грузчики магазинов, фарцовщики. Что любопытно, они не скрывали свои отношения. То ли никого не боялись, то ли считали, что их не так просто уличить в совместных махинациях. Кто знает, может быть, и в самом деле это была не организованная шайка, а некое объединение бывших уличных пацанов, которые решили делать деньги иначе, не путём краж и разбойных налётов на прохожих.

Теперь мне отчасти было ясно, почему Райка Золотова так зло ругается с Бритом и хочет переметнуться от него к Рогуле. Рогуля был из окружения Адама. Он работал заправщиком автоматов газированной воды. Днём он разъезжал на грузовом мотороллере, а вечером – на собственном «Москвиче». И однажды Райка прямо сказала Бриту, что Рогуля ещё десять лет будет кормиться трёхкопеечными монетами, а может быть, и всю жизнь до самой пенсии, а он, Брит, вот-вот сядет, причём сядет надолго.

Брит крыл Райку трёхэтажным матом. И орал, что он

прикончит и её, и этого прыщавого Роголю. Райка рыдала, размазывая по лицу косметику, отчего становилась похожей на Багу-ягу в молодости. Смотреть на эти сцены было противно.

Вообще с Бритом последнее время происходило что-то непонятное. Он чуть ли не ежедневно скандалил с Райкой. Потом здорово побил Роголю. За Роголю вступился Алихан. Дело чуть не дошло до ножей. Те, кто был рядом, кое-как разняли.

Для меня эта грызня имела своё значение. Брит, вероятно, рассказывал Алихану о наших похождениях. И тот совсем меня зауважал. А теперь, после их грандиозной ссоры, о которой говорил весь центр, бросал на меня, приближённого Брита, такие взгляды, что мне становилось не по себе.

– Если меня начнут резать, в защиту не лезь. Мы помиримся, а тебе не простят, – сказал мне в трезвую минуту Брит.

Как вести себя дальше? Я решил держаться Брита до конца. И настроился на долгую вражду двух уличных авторитетов. Но всё вышло иначе.

* * *

В тот вечер мы были в Дунькином клубе. Брит накурился анаши. И таким злым и агрессивным я его никогда не видел. Он обводил глазами зал, выбирая жертву. То ли от природы, то ли от жизни, которую вёл, Брит был очень истеричным малым. На этот раз он не был оригинальным. Распсиховался из-за того, что Райка танцевала с каким-то незнакомым парнем.

Парень только что вернулся из армии. На нём была новенькая, с иголочки, солдатская форма, разные нашивки, шевроны и позументы, безвкусно сделанные руками армейских умельцев, отчего солдат выглядел слишком уж пижонски. Это был воздушный десантник. Голубой берет немислимо держался у него на самой макушке. Солдат был здорово поддатый. Осоловельми глазами пьяно улыбался Райке и прижимал её к себе большими руками. Райка что-то говорила солдату и жалко ему улыбалась. Наверное, чувствовала свирепый взгляд Брита. Уж она-то знала, что может произойти в любую минуту.

Брит взглядом приказал ей оставить солдата и подойти.

– Опять французская любовь?

– Слушай, – с ходу завелась Райка, – я бы танцевала только с тобой и больше ни с кем. Но ведь ты терпеть не можешь танцевать. Ты приходишь сюда совсем для другого. Что же, по-твоему, я должна стоять дура душой и отказывать тем, кто меня приглашает?

– Постоишь, – сказал Брит.

– Не распоряжайся мной! Я ещё не твоя собственность! Оставь меня в покое. Ты мне осточертел! – закричала Райка.

Они оба были истерики. И Брит, и Райка. Только Брит был ещё и под анашой.

– Сейчас я тебя освобожу, – сказал он.

Райка с ужасом отшатнулась. И в этот миг между ней и Бритом вырос солдат-десантник. Прямым протрезвевшим взглядом он смотрел в глаза Бриту. Он сказал довольно миролюбиво:

– Ну что ты перед девчонкой выламываешься?

– А, защитник Родины! – осклабился Брит. – Ну-ну, давай, поглядим, чему тебя научили.

– Брось нож, – сказал солдат.

– А ты отними.

– Лады, – сказал солдат, – только без обиды.

Он сделал молниеносный выпад ногой. Рука Брита, сжимавшая нож, взлетела вверх. Нож выпал. Солдат сломал об пол лезвие. И влепил растерявшемуся Бриту сильную затрещину.

– А вот это ты зря, – скривился от боли и унижения Брит.

Солдат и Райка пошли танцевать. А шпана скучилась вокруг Брита.

– Я сам, – несколько раз повторил Брит. – Я сам.

Больше он не сказал ни слова. И не сделал ни одного движения. На него с сочувствием и полной готовностью растерзать солдата смотрела центровая шпана, а он как бы молча вбирал в себя всю унижительность своего положения, растревлял себя до последнего предела. А когда кончились танцы, ринулся к солдату сквозь толпу, как торпеда. Раздался девчончий крик. Толпа расступилась. Солдат стоял, улыбаясь и держась рукой за то место, где у человека печень. А шпана и вместе с ней Брит уже разбегалась кто куда.

Солдата увезла «скорая помощь». И я подумал тогда, что к нему тоже придут с расспросами. И он тоже не скажет, кто его порезал. Стало муторно, словно это случилось снова со мной. И я пошёл к Генке. Прямо на завод.

* * *

С Генкой я виделся теперь редко. Он работал в две смены. В одну смену выполнял план. В другую делал вид, что набирается опыта у одного токаря высшего разряда. А на самом деле потихоньку вытачивал детали мелкокалиберного пистолета. Ему согласился помочь советами тот самый токарь высшего разряда. Молодой ещё мужик, он в своё время болтался среди шпаны. Потом, после армии, остепенился, женился, имел двоих детей. Но свободное время проводил в компании таких же непутёвых женатиков. Они собирались в какой-нибудь пивной, жаловались друг другу на скуку семейной жизни, на строгость начальников и вспоминали свою бурную уличную юность.

Генка проявил невероятное упорство. Несколько месяцев пахать в две смены – это о чём-то говорит. И вот однажды позвонил мне: «Пушка готова. Где будем испытывать?»

Мы забрались на стройку. Взяли лист жести, нарисовали на нём мелом фигуру человека, отмерили двадцать шагов. Сначала выстрелил Генка, потом я. Мы оба попали в мишень. Пистолет превзошёл все ожидания. Я поздравил Генку. У него в самом деле были золотые руки. Генка ликовал. А я сжимал тяжёлую рукоять пистолета, и чёрт знает что творилось в душе. Страсть к оружию была у меня с детства. Однажды я стянул у своего дядьки-офицера пистолет, принёс его в школу и расстрелял всю обойму по воровьям. Стрелял, мерзавец, прямо из окна класса, на перемене. Удивительно, но никто из одноклассников меня не выдал.

– Пусть он будет у тебя, – великодушно предложил Генка.

И я затолкал пистолет в карман.

– Теперь можно рассчитаться с Синеглазым, – сказал Генка.

Ему не давало покоя то, что он не помог мне в той ресторанной драке.

И мы пошли в клуб железнодорожников. По пути я изложил Генке свой план. Просто так подойти и выстрелить я всё равно не смогу. Нет прежней злости. Да и садиться из-за этого гада не хочется. Надо, чтобы Синеглазый хоть как-нибудь меня задел, вызвал во двор. А там уж мы посчитаемся.

Генка остался у входа в клуб. А я, крепко сжав в кармане пальто рукоять пистолета и держа палец на спусковом

крючке, направился к Синеглазому. Пока я шёл к нему через весь зал, злость поднималась всё выше и выше. И когда подошёл к Синеглазому вплотную, эта злость была уже у самого горла. Мне захотелось выстрелить в упор. Но и на это нужен был повод. Я что было силы наступил Синеглазому на ногу. Но тот почему-то не дёргался и даже не убрал ногу. И даже не смотрел мне в глаза. Только жалко подрагивал и тяжело дышал...

– Ты правильно сделал, – сказал мне Генка, когда мы вышли из клуба.
– Это хуже мордобоя. Я видел его рожу.

– Жалко было из-за этого гада пистолет терять, – небрежно сказал я. – Если бы я выстрелил, пушку пришлось бы выбросить. А она нам ещё пригодится.

– Ты всё сделал правильно, – повторил Генка.

Он был возбуждён не меньше меня. Весь вечер мы обсуждали сцену моей мести. Пытались понять, почему Синеглазый, с его-то норовом, окружении вокзальной шпаны, молча снёс оскорбление. Скорее всего он просто почувствовал, что я вооружён. И вооружён именно пистолетом. Нас переполняло ощущение своего всемогущества. Мы чувствовали себя сильнее целой уличной группировки. Генка сказал, что он завтра же начнёт делать второй пистолет, и тогда... Мы сами устроили себе эти уроки злопамятства и жестокости. Я даже не понимал тогда, что был на волосок от убийства. Если бы Синеглазый дёрнулся, я бы спустил курок. А целил я в живот. И в то же время я был на волосок от собственной гибели. Потому что шпана могла меня опередить. Я мог бы сделать выстрел, но от волнения не попасть. Чего не бывает. А в стволе был только один патрон. Обойму Генка, как ни старался, сделать не сумел. Короче говоря, элементарно запинали бы меня до смерти... Мы чувствовали свою силу. И не понимали, что всякое оружие только уменьшает безопасность того, кто его носит.

Мы пошли в дальний угол стройки. Я нажал на курок, но выстрела не последовало. Я перезарядил, взвёл курок и снова нажал на него. Снова осечка.

– Что-то с бойком, – сказал Генка.

Я нервно рассмеялся.

– Ну ты и везучий! – сказал Генка.

А через несколько дней мы встретили Брита. Он на время исчез из города, ездил в какой-то совхоз и там отсиделся, пока не утихла история с солдатом. У Брита не было денег. Он спросил, есть ли у нас. Узнал, что мы тоже бедствуем. И сказал, что в таком случае нужно что-нибудь

придумать. Я шутя сказал, что можно организовать налёт на сберкассу.

– Зубы у тебя ещё не выросли на сберкассу, – сказал Брит. – Ты для начала магазин возьми с одним продавцом.

Чёрт меня дёрнул за язык:

– Магазин так магазин.

– Только в случае чего меня с вами не было, ясно? – сказал Брит, словно это я предложил, а он только согласился.

– Само собой! – сказал я, чувствуя, как захлопывается западня, но ещё не веря в её реальность.

– О чём разговор! – воскликнул Генка.

Наши слова прозвучали как обет молчания.

Брит испытующе нас осмотрел.

– Тогда поехали. Есть у меня кое-что на примете.

– Прямо сейчас? – вырвалось у меня.

– А ты что, хотел с мамой посоветоваться? – спросил Брит.

Даже Генка не выдержал, рассмеялся. Смех этот был как ножом по сердцу. Я взглянул на Генку. Он улыбался и сплёвывал, делая вид, что готов на всё. То ли совершить налёт на магазин, то ли на сберкассу, то ли на государственный банк.

А как держался Брит? Он был старше меня всего на два года. И, следовательно, у него были те же, что и у меня, возрастные особенности; Не исключено, что и он, Брит, изображал из себя того, кем по существу не был. Или по крайней мере хотел казаться хуже, чем был. Пожалуй, так и было. Хотя можно принять во внимание и его стаж уличной жизни, а стало быть, и большую испорченность. И наконец, десятимесячную отсидку за хулиганство.

Мы поехали на автобусе, делая вид, что не знакомы друг с другом. По движению бровей Брита сошли на одной остановке. И пошли за ним. Старое зданье магазина стояло среди новых пятиэтажных домов. Его давно должны были снести. Очень жаль, что его не снесли, думал я в те минуты.

Брит шёл быстро, уверенно. Но не дойдя до магазинчика остановился. Когда мы с Генкой подошли, всё стало ясно. На двери висел огромный замок. Сегодня был выходной.

– Склероз, – сказал Брит.

Мы стояли, поглядывая друг на друга. За то время, пока мы ехали, каждый из нас внутренне уже настроился. Если не на преступление, то по крайней мере на его неизбежность. И это состояние оставалось в нас и требовало своего осуществления. Это состояние нужно было разрядить в налёте на другой магазин.

– У вас есть что-нибудь на примете? – спросил Брит.

Я бросил взгляд на Генку. Мы часто обсуждали в наших беседах фантазиях магазинчик, который находился рядом с рестораном «Иртыш», где работал Димка. Но забраковали этот вариант, вокруг магазина был слишком большой пустырь. Если продавщица поднимет тревогу, уже не скроешься.

– Поехали, посмотрим, – сказал Брит, выслушав нас.

На пустыре не было ни души. Мы заглянули в замёрзшие окна магазина. Продавщица была одна.

– Стой у входа и, если кто-нибудь подойдёт, скажи, что в магазине инкассаторы, – велел Брит, обращаясь к Генке.

И скомандовал мне:

– Пошли!

Не прерывая своего занятия, продавщица подняла на нас глаза. Она считала деньги. Денег было много, но все купюры были рублями. А на прилавке лежал нож, каким режут масло.

– Что вам? – спросила продавщица,

– Пачку сигарет, – сказал Брит.

Он расплатился, взял сигареты и пошёл к выходу. Я за ним.

Мы стояли в тамбуре магазина и смотрели на Брита.

– Не могу, – сказал, закуривая, Брит.

Это было так неожиданно. Ни я, ни Генка не находили слов.

Брит сдрейфил! Я презрительно усмехнулся. И это меня погубило.

– Попробуй сам, если ты такой шустряк, – зло сказал Брит.

Я уже побывал у прилавка. Как бы провёл репетицию. Коленки малость вибрировали. А в остальном ничего – терпеть такое самочувствие можно. Только словно бы не в реальной жизни себя чувствуешь, а как бы во сне. Но терпеть можно. Можно досмотреть этот сон. «Попробуй сам!» Это был вызов. Причём вызов, в присутствии Генки, с которым мы извели столько слов. А на вызовы я привык отвечать ответным вызовом.

Я смерил Брита уничтожающим взглядом и процедил:

– Стой на месте Генки.

И взглянул на своего дружка. Глазами спросил, согласен ли он пойти со мной. И прочёл ответ: согласен! Только бы утереть нос этому Бриту и всем центровым, которые до сих пор не признавали в Генке равного себе.

Мы вошли в магазин. И Генка закрыл дверь на крючок. Теперь, когда продавщице всё стало ясно, нужно было идти дальше. Продавщица сунула деньги под прилавок и напряжённо молчала.

Во рту у меня разом пересохло. Ноги стали совсем слабыми, как бы отнялись. Генка остался стоять у двери. А я кое-как подошёл к прилавку. Теперь мы смотрели друг другу в глаза. Я и продавщица, пожилая женщина с неприятным крючковатым носом и злыми глазами.

– Деньги, – сказал я, едва разлепив губы. Продавщица перевела взгляд на Генку. И я решил, что она меня не приняла всерьёз, не испугалась. Тогда я взял с прилавка нож, воткнул его в прилавок и повторил:

– Деньги.

– У меня только разменные, – сказала продавщица. Только что был инкассатор. Всё забрал. Берите, что осталось.

Она с готовностью подала мне деньги, которые только что считала. Я лихорадочными движениями засунул их в карман. Продавщица внимательно смотрела на меня. Мне показалось, что она даже усмехнулась. Что показалось ей смешным? Моё волнение? Или же что-то ещё? Объяснение пришло позже, гораздо позже. А тогда я сказал продавщице Куренной:

– Сидите тихо и не выходите.

– Хорошо, хорошо, – охотно пообещала Куренная. Мы выскользнули из магазина. Брита у входа не было.

Мы увидели его аж на другом конце пустыря. Мы побежали к нему, ожидая услышать позади крики продавщицы. Но было тихо. И не было ни одного прохожего.

Мы забежали в подъезд какого-то дома. И там пересчитали деньги. В пачке было 46 рублей.

– Я знал, что так получится, – сказал Брит. – Не стоило рисковать из-за такой ерунды.

Вместо «ерунды» он сказал, конечно, другое, матерное слово, одинаковое по смыслу.

Вот гад! Он снова был как бы над нами! Попробуй докажи, что он струсил. Он кого угодно убедит, что из-за 46 рублей ни один уважающий себя

уркаган не станет рисковать годами свободы. Разве что такие рогомёты, как я и Генка.

Что делать с деньгами? Не делить же их.

– Пошли в кабак, – предложил Генка.

Он был сильно расстроен. Не такая мечталась ему добыча. В самом деле, нам надо было как следует выпить, чтобы хоть немного забыться. Но разговор за столиком не вязался. Я чувствовал, что Брит уже не простит мне моего тона. К тому же мы не сводили глаз с входной двери. Боялись, что милиция заглянет в ресторан и, зная от продавщицы приметы, возьмёт нас, как говорится, тёпленькими. Мы посидели минут сорок и разошлись. Точнее, Брит ушёл от нас.

– Меня с вами не было, – твёрдо сказал он на прощание.

А мы с Генкой долго бродили по улицам. Потом стояли в подъезде. Снова и снова обсуждали, как это было. Разбирали, всё ли было сделано правильно. Извлекали из происшедшего уроки на будущее. Естественно, мы боялись разоблачения. А с другой стороны, твердили друг другу, что кроме продавщицы нас не видела ни одна живая душа. И если на нас падёт подозрение, свидетелей-то нет.

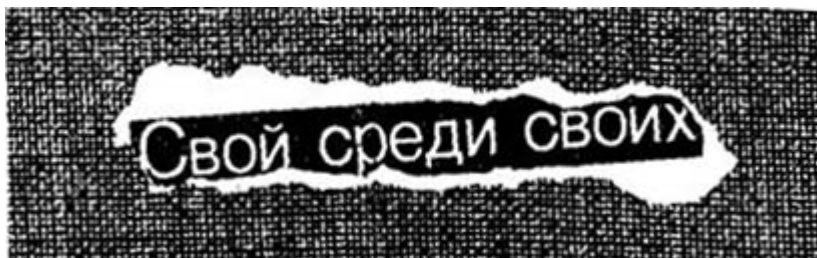
Теперь мне часто снилась женщина с крючковатым носом и злыми глазами. Она подавала ворох денег. Я рассовывал их в карманы и убегал. Он заканчивался криком женщины: «Держите его! Это бандит!»

Я понимал, что наша с Генкой болтовня кончилась. Впервые мы совершили то, что до сих пор только проигрывали в своём воображении.

Каждое преступление тянет за собой другое. Вне всякой зависимости от того, как оно прошло и чем закончилось. Успехом или неудачей. Успех вызывает стремление взять ещё больше. Неудача порождает желание отыграться.

Нам досталась смехотворная сумма. Брит был прав. Получить за такую сумму срок – непростительная глупость. Но если этот налёт сошёл с рук, следующий мы организуем иначе. Никакой спешки. Всё вычислим, всё предусмотрим. Так я говорил самому себе, всерьёз считая себя умным и неуловимым.

Но этот налёт стал для нас последним...



Кто живёт уличной жизнью, участвуя в разных делишках, тот не может не думать о том, что всё это рано или поздно кончится. Только мысли эти тоже с говором: пусть сначала поймают! Холодок в груди, ноги словно чужие, сердце вот-вот выскочит из грудной клетки, а всё равно лихость и горор: обойдётся!

А вот не обошлось. Поймали. Надо отвечать. Расплачиваться не каким-то там штрафом – шестью годами молодости. Страшно. Очень страшно. И очень хочется отдалить неизбежное. Хоть на месяц. Хоть на неделю. Ещё погулять.

После суда я сбежал и первое время скрывался в Алма-Ате. Когда кончились взятые из дома деньги, забрался в какой-то киоск и завладел целой пачкой лотерейных билетов. Сто штук! Утром я уже был в сберкассе. На большой выигрыш не рассчитывал. Но был уверен: без выигрыша не уйду. Ведь в руках целая пачка!.. Не выиграл ни один билет! Кажется, именно тогда шевельнулась мысль – вера в удачу – штука ненадёжная, требуется что-то повернее. Но что?

Голод не тётка. После долгих и мучительных колебаний решился залезть в квартиру. На кухне увидел записку, похожую на те, что писала перед уходом на работу мама. Перечислялось, что приготовлено из еды, где что взять. Оглядел квартиру, скромно обставленную, похожую на нашу, и ... вышел так же, как и пришёл, через балкон.

До сих пор не знаю, почему ничего не взял. Даже деньги, которые лежали на серванте. Наверное, чувствовал, что если что-то возьму в такой квартире, то потеряю всё, пропаду окончательно, превращусь в законченного подонка.

Что делать? Не воровать же булку на базаре, подобно беспризорнику 20-х годов. Подался в пригородную зону Алма-Аты. Питался овощами и яблоками, без хлеба.

Заболел животом и здорово простыл. По ночам в предгорьях в ту осень было очень холодно. Кое-как доплёлся до какого-то дома на окраине, зашёл на кухню и потерял сознание.

Меня нашла и выходила молодая одинокая женщина. А я, едва придя в себя, полез к ней со своими скотскими нежностями. «Ты так решил меня отблагодарить?» – насмешливо спросила она. Я хотел было по привычке найти себе удобное оправдание и – не смог. Оправдывая себя, я должен был в чём-то обвинить или унижить спасшую меня женщину.

Пожалуй, именно тогда я пришёл к выводу: чтобы остановиться, нужно отказаться от самооправданий, которые только сбивают с толку. Для самоисправления нужны самообвинения.

Женщина была очень добра. Я мог бы жить у неё сколько угодно. Её маленькая комнатка была полна книг. А я, слава богу, ещё не потерял интереса к чтению. Но это было бы чересчур – сидеть на шее у доброго человека и читать её книги.

Я сказал, что мне лучше уехать.

– Я дам тебе на дорогу денег, – сказала женщина. – Но куда ты едешь? Кругом зима.

– Ты считаешь, что мне лучше вернуться?

– У тебя нет другого выхода, – сказала женщина, – Бегать – значит ещё что-нибудь совершить,

Я уехал, но долго ещё не мог собраться с духом, чтобы сдать властям. Уже знал, что объявлен всесоюзный розыск. Уже убегал от погони. Уже понимал, что только возвращение избавит от дополнительного срока. Уже сознавал, что такая свобода мне не нужна. И – не мог. Не хватало твёрдости.

Когда кончились деньги, пригодился единственный документ, который у меня почему-то не изъяли во время следствия, – комсомольский билет. Я выдавал себя за студента и работал грузчиком на железнодорожных станциях. Общался с настоящими студентами, видел, как умеют они довольствоваться малым. Все свои надежды они возлагали только на себя, на свои способности. Об удаче говорили только в шутку.

Когда постоянно один, поневоле начинаешь мысленно разговаривать с самим собой. «Встречу Новый год и вернусь», – говорил я себе. «Кого обманываешь? – говорил

другой голос. – Если ты не тряпка, вернись сейчас и встреть Новый год там. Вот это будет по-мужски».

Я вернулся в Павлодар 20 декабря, после шестимесячной беготни по стране.

* * *

В колонии меня отправили на земляные работы. Зима была морозной. Наша бригада отогревала верхний слой почвы кострами. Если работать на совесть, никакой мороз не страшен. Но я попал в бригаду, где у осуждённых были статьи, не сулившие досрочного освобождения. Все грелись возле железной печки, заваривали чифирь, поджаривали пайки хлеба, курили анашу и травили байки про то, какая красивая житуха была у каждого на воле. Это было сплошное хвастовство и враньё. Но взрослым людям почему-то не противно было барахтаться в грязной луже своей жизни, изображая, что кайфуют в голубом бассейне. Люди превратили свою жизнь в сплошной обман и самообман и не хотели признаться себе в этом.

Почему?

Ответа у меня не было. Но я не хотел больше участвовать в общих глупостях. Надо было идти к свободе каким-то своим путём. Все шли греться, а я долбил землю и рыл траншею. Сначала я работал так не потому, что видел в этом какой-то важный принцип. Просто противно было слушать пошлые сказочки у железной печки, смотреть, как жадно глотают ветераны зоны заваренный до черноты чай, наблюдать стычки во время карточной игры, видеть истерическую грызню из-за наркотиков. Траншея была единственным местом, где можно было побыть одному.

Сложнее было в зоне, в жилом бараке. Но и там я нашёл одиночное занятие. Стал изучать английский, заниматься самообразованием.

Я ещё не чувствовал, что самое страшное в неволе – это угробленное время, упущенные возможности. Но уже понимал, что надо наполнять жизнь другим содержанием. Не тем, которым жили другие.

Но к общению с людьми всё же тянуло. И я стал дружить с немым карманником, который научил меня своему языку.

А потом снова остался один. Немного перевели в другую колонию, а меня – на работу в столярный цех. Я освоил работу на циркулярной пиле и стал выполнять полторы, а иногда даже две нормы за смену. Мне понравилось быстро и азартно работать. Так незаметней проходило время.

Мне ничего не нужно было за такую работу. Ни лишних рублей для отоваривания в колониjsком ларьке. Ни доброго отношения начальников. Мне просто понравилось, что я научился что-то хорошо и быстро делать. Я начал себя уважать прежде всего за это, а не за что-то другое. Начал уважать себя за самое человеческое – за умение работать, и работать хорошо.

Что в этом плохого? Но никто из окружающих не захотел этого понять. И прежде всего мой напарник по циркулярке, хотя мы и дружили, кентовались, как говорят в зоне. Он много ругался, требовал, чтобы я работал медленней. А потом сделал якобы неверное движение. И я получил страшный удар доской по голове.

Спасибо ему, моему напарнику. Он помог мне понять, откуда взялась у меня жадность к работе. Когда хорошо работается, хорошо думается. И я придумал. Нашёл и смысл и принцип своего существования. Да, я совершил преступление и расплачусь за него шестью водами неволи. Это неизбежно. Следовательно, уже сегодня, в самом начале срока, я могу считать свою вину искуплённой, а себя – вовсе не ээком, а вполне нормальным человеком. К чему же мне в таком случае относиться к работе по-ээковски? К чему убивать годы жизни в беспросветной пустоте бесцельного существования? К чему пытаться переложить вину за своё несчастье на какие-то неправые действия следствия, суда, администрации колонии? Если я решил считать себя нормальным человеком!

В таком построении была известная натяжка. Иногда казалось, что держишь себя за волосы над вонючим болотом. Но этот самообман служил самоспасению. Окружающие сэкономили силы, сберегая себя физически. А я сберегал другое. То, что для человека куда важнее.

Я – уже нормальный человек и выйду отсюда им во что бы то ни стало. Такое самосознание давалось нелегко. Какой ты к дьяволу нормальный человек, когда тебя по несколько раз в день считают, чтобы не потерялся, обыскивают, стригут под нулёвку, одевают в чёрную робу. Лично для меня

все эти постоянные мелкие унижения были просто невыносимы. И когда я снова видел в зоне тех, кто ещё недавно уходил на свободу, у меня в голове не укладывалось: как можно возвращаться туда, где всё унижает? Есть ли у возвращенцев хоть капля человеческого самолюбия? Есть ли хоть какое-то достоинство? Конечно, нет.

Но почему?

Да потому, что нет нормальных человеческих качеств: доброты, честности, трудолюбия.

Откуда взяться достоинству, когда нет достоинств? А всё в жизни, видимо, построено очень строго. Чем больше у человека достоинств, тем больше в нём чувства своего достоинства. И наоборот. Чем меньше достоинств, тем больше спеси, гонора, подсознательной злобы на своё ничтожество. Не случайно злобность, истеричность – качества, которыми отличаются те, кто не раз попадал в зону.

Но это сейчас всё выглядит просто и ясно. А тогда...

Мне стало известно, что Брит выдал нас милиции. Просто так, взял и выдал, чтобы не посадили за другое преступление. Нашёлся в милиции человек, который предложил ему эту сделку.

Без предательств преступная среда жить не может.

Я видел, как ради досрочного освобождения и каких-то благ, а то и ради мелкого мщения – одни ээки, нацепив на рукав красную повязку, ловили других, иногда своих же дружков. Ловили на нарушениях режима и сдавали администрации для принятия мер. И я стал просто презирать окружающих. А чем больше презирал, тем больше замыкался в себе. Не исключено, что можно было освободиться гораздо раньше срока. Но чем больше я уходил в себя, тем меньшее число людей могло увидеть, что во мне ничего уже не осталось от преступника.

А впереди было ещё одно испытание. После трёх лет отсидки в колонии общего режима меня перевели на строгий режим. Тяжёлая была статья, по которой был осуждён. И несмотря на добровольное возвращение сам факт побега тоже учитывался. А строгий режим – это новые ограничения, новые тяготы жизни в неволе.

На «строгаче» удельный вес человеческой испорченности был выше. Но многие отбывали длительные сроки наказания,

настрадались, устали от такой жизни. Общаться с этими людьми было легче. А вскоре общение стало для меня необходимостью. Меня назначили старшим культургом колонии.

В ведении старшего культурга радиоузел, художественная самодеятельность, школа, библиотека, фотография, спорт, досуг. Он организует лекции, беседы, радиожурналы, стенную печать. То есть должен делать всё возможное, чтобы заключённые проводили свободное время в полезных, а не вредных занятиях, добросовестно относились к труду и стремились выйти на свободу с твёрдым желанием никогда впредь не преступать закон. Но, по моим наблюдениям, традиционные методы перевоспитания путём лекций, бесед, стенной печати, наглядной агитации и т. п. не оказывали ожидаемого воздействия. Это было словесное воздействие. А те, на кого оно было направлено, давно уже не верили никаким словам.

И я предложил замполиту провести эксперимент. Вместо одного фильма в месяц – два каждую неделю. Ведь хороший фильм – это духовная пища. Как же можно лишать этой пищи или сводить её к минимуму? Человек ещё больше одичает.

Среди заключённых немало тех, кто пробует писать стихи и прозу. Кто в сочинительстве находит выход творческому началу, заложенному в каждом человеке. Есть в зоне и свои «философы» и «идеологи». Те, кто пытается выразить себя в споре, в навязывании своих взглядов. Ясно, что это за взгляды. Но учтём другое: изначальную потребность в морализаторстве, способность влиять на окружающих.

И вот все эти «поэты», «прозаики», «философы», «идеологи» варятся в собственном соку. А если организовать их духовный и творческий рост? Кто знает, может быть, они станут в зоне той силой, которая будет влиять на умы и настроения людей посильнее, в положительном смысле, чем формальные мероприятия.

При помощи замполита я связался с местным литературным объединением, филармонией и интеллигентами, создававшими в Павлодаре, как в любом провинциальном городе, духовную жизнь. Они стали бывать в нашей колонии, встречаться с заключёнными, давать концерты, рецензировать сочинительские опыты, давать советы, просто беседовать о жизни.

Вступив на преступный путь, человек противопоставляет себя принятым в обществе нормам и законам, то есть выключается из социальной жизни. Стало быть, исправление человека требует его обратного включения в социальную жизнь. Этой цели и служило общение с местной творческой интеллигенцией.

Об эксперименте стало известно в обкоме комсомола, при котором действовало литобъединение. И у первого секретаря обкома Сергея Литвиненко возникла идея – освободить меня хотя бы на год раньше срока и поручить создание подростковой организации, которая помогала бы пацанам благополучно пережить свой критический возраст.

Обком комсомола и администрация колонии обратились с ходатайством в Верховный Совет Казахской ССР о моём помиловании. 2 февраля 1966 года я был освобождён. А 3 февраля вышел на работу в Павлодарский горком комсомола.

* * *

В 60-х годах сложилось мнение, существующее по сей день. Мы-де плохо организуем досуг подростков. В результате (из-за того, что им некуда себя девать и нечем заняться) подростки создали свой искусственный мир. Этот мир состоит из уличных групп, в составе которых несовершеннолетние совершают большую часть приходящихся на их долю правонарушений. Для решения означенной проблемы предлагалось организовать по месту жительства полезные занятия и охватить ими уличные группы. А с теми, которые не хотят охватываться и продолжают вредную уличную жизнь, нужно бороться. Как? Элементарно: находить способы разобщения ребят, разрушать сложившиеся уличные структуры. Силами народных и оперативно-комсомольских дружин, родительских патрулей, педагогических отрядов, индивидуальных шефов над «трудными».

Для организации досуга были созданы клубы по месту жительства. Но уличные почему-то туда не шли, предпочитая тёмные подворотни и заплёванные подъезды.

Ничего не давала и «борьба», объявленная армадой сил общественности. Подростки не желали разобщаться. «Искусственный» уличный мир никак не хотел разрушаться.

Но доктрина оставалась неизменной – с уличными сообществами нужно вести борьбу.

Приступая к работе, я тоже не колебался: предстоит борьба. Но избави бог от таких союзников, как ДНД и ОВД. К ним у ребят – будем видеть вещи такими, какие они есть – сложилось не самое тёплое отношение. Смешно было даже подумать о том, чтобы вступать в борьбу с улицей в союзе с какой-то силой общественности.

По собственной юности я хорошо знал, что этот «искусственный» мир невозможно ни отменить, ни разогнать, ни ликвидировать. Его можно только изменить. И то лишь при условии, если он сам этого захочет. Интуиция подсказывала, что уличный мир может улучшиться в результате объединения и активизации своих собственных здоровых сил и моральной изоляции наиболее испорченных уличных лидеров. Улучшение улицы виделось в замене наиболее тлетворных типов поведения (суперменство, цинизм, власть кулака) на более здоровые. Но эта замена не могла произойти без отчаянного сопротивления уличной верхушки.

Предстояла борьба «своих со своими». Борьба непримиримая, где порой друг идёт против лучшего друга, а брат против брата. И потому можно было рассчитывать на успех только в том случае, если наш альтернативный коллектив будет во всех отношениях превосходить любую самую сильную уличную группировку. И прежде всего своей внутренней организацией, сплочённостью, преданностью ребят своему новому сообществу. Добиться этой сплочённости можно было не какими-то интересными занятиями, а другим, более взрослым содержанием жизни.

* * *

На одну из утренних планёрок пришёл первый секретарь горкома партии. Я чувствовал на себе его пристальный изучающий взгляд. Потом я узнал, что были звонки: «Из колонии прямо в горком комсомола?! Кому доверили подростков? Он вам навоспитывает!»

Когда на тебя так смотрят, работать трудно. Но ещё труднее было другое. Я не был ни педагогом, ни комсомольским работником. У меня был только один опыт – опыт уличной жизни. И опыт воздействия на самого себя в колонии.

И в горкоме комсомола никто не мог подсказать, с чего начать. Только говорили: если будешь создавать секции и кружки, то поможем, найдём энтузиастов. Я благодарил, а сам примеривал на себя бывшего: пошёл бы я в эти самые кружки? Едва ли.

Умом я понимал, что должен буду перевоспитывать так называемых «трудных» подростков. А психологически у меня сохранялась аллергия ко всякому «воспитанию». Само это слово раздражало. Нужно было что-то придумать. И так работать с пацанами, чтобы воспитанием даже не пахло.

Мне дали стол в одном из кабинетов горкома, телефон. Работай! А где собрать пацанов? «Ищи какой-нибудь подвал». Легко сказать. Коммунальщики дрожали за свои подвалы, словно там можно было обнаружить клад.

Я говорил: в городе больше пятисот подростков, стоящих на учёте в милиции. А сколько тех, кто совершает правонарушения, не попадаясь?! Ведь всю эту публику надо элементарно спасать. А мне негде даже собрать ребят.

Мне говорили: не ты один такой заботливый. Так давайте делать наше общее дело, горячился я. Вот именно, говорили мне, надо дело делать, а не разводить анархию. Для того чтобы выделить подвальное помещение, нужно... Мне хотелось опустить стул на голову того, кто, спокойно попыхивая сигареткой, перечислял: увязать, согласовать, утвердить. Такое ощущение стены было у меня только там, в зоне.

Но однажды, в нервную минуту, в голову пришла весёлая мысль. А чего ты гонишь волну, сказал я себе. Ты прикинь: а улица имеет свои помещения? Нет. А тем не менее воспитание идёт. Слово это надо бы закавычить. Но оно идёт, уличное воспитание. Так почему бы тебе не попробовать – без помещения?

И я начал работать, «во вторую смену». Взял карту города, ходил по улицам и выяснял, где какие собираются компании. Их примерная численность? Чем развлекаются? Кто руководит? И прочие характеристики.

Заходил в детские комнаты милиции. Так тогда называлась инспекция по делам несовершеннолетних. Там мне давали более подробные сведения.

Часто жалел, что нет рядом во время моих вечерних и ночных рейдов тех, кто не давал помещение. Особенно когда случалось обнаружить подростковые притоны. В уютной теплотрассе застукал троих подростков, занятых мужеложством. В другой уютной теплотрассе обнаружил

бывалого бомжа, в просторечии – бродягу. Бомж рассказывал пацанам о своих приключениях. А они платили ему тем, что таскали из дому еду. Потом он подговорил двоих сорвать с женщины дорожную меховую шапку. Те и рады стараться...

Компаний были десятки. С какой начать? Меня привлекла та, которая колобродила в микрорайоне, где я сам когда-то начинал свой уличный стаж. Ирония судьбы... Компания была человек сорок. Разновозрастная: от 12 до 17 лет.

* * *

Итак, я решил взять пример с взрослых и общаться с пацанами без помещения, без плана работы и прочих педагогических штук. Оказалось, что это самое трудное в деле воспитания – просто общаться с ребятами.

Помню, мы пошли после знакомства на пляж. И я чуть не утонул. Ребята предложили переплыть небольшой залив в ластах. А я в ластах никогда раньше не плавал. Когда я сел, их ещё в продаже не было. И вообще я не купался пять сезонов подряд. Но пришлось плыть. И пришлось скрывать, что едва не тонешь. На берег почти выполз... У ребят было с собой вино. Пришлось сделать несколько глотков. А куда денешься?. Очень хотелось, чтобы признали за своего. Очень боялся, что поймут, зачем я к ним пристроился. Утонуть так не боялся, как этого разоблачения.

Вино было неотъемлемой частью общения пацанов. Вино и веселье – эти два понятия сливались в одно. Я не мог с первых же дней предложить «сухой закон». Меня просто не поняли бы.

После пляжа пошли в парк. Представьте: человек тридцать подростков – явная шпана – идут кучей, а в центре взрослый. Те, кто знал, для какого дела я поставлен, сигналили в разные инстанции: «Как этот человек может перевоспитывать «трудных», если они так ведут себя в его присутствии? Курят! Обращаются к нему на «ты»! Это не воспитатель, а атаман!»

Тот начальный период я так и называю теперь: период атамандины.

Уважаемая общественность, видимо, хотела, чтобы я отвёл обросших охломонов в парикмахерскую, запретил курение, отменил мат и жаргон, то есть начал с запретов

и тем самым выдал себя с головой. Общественность не учитывала, что только благополучные подростки могут лукаво изображать, что они воспитываются. Уличные же реагируют на попытки повоспитывать их бурно – как на невыносимый аллерген. Посмел бы я только потребовать, чтобы они обращались ко мне на «вы»!

Кому не известен парадокс: искусство выше нравственности. По аналогии можно сказать: воспитание выше ханжества. Ну начал бы я с запретов и высоких слов. Чем бы всё кончилось? Сколько минут пробыл бы я в роли воспитателя?

Я сам, когда слышал высокие слова, чувствовал себя словно на приёме у врача. Врач внушает пользу лечения. А у меня одно на уме: какую гадость он пропишет.

Шёл 1966 год. Это было время, когда решили, что требуется усилить патриотическое воспитание. Подростков водили по местам боевой славы. Перед ними произносили пылкие речи. Один пацан смеялся: за три года ему пришлось восемь раз произносить текст клятвы.

Я решил, что лучше воспитывать в деле, создавать обстоятельства для поступков. И не раздваиваться между словом и делом. Между тем, к чему призываю, и тем, как живу сам.

По себе знал: подростка портятся не оттого, что предоставлены самим себе. А оттого, что видят, как живут родители, как ведут себя учителя, что пишут в газетах и что на самом деле происходит вокруг.

Ещё я дал себе слово, что не буду воспитывать диктатом и непродуманными решениями. Потому что подростки становятся хуже не тогда, когда их вовсе не воспитывают, а когда их начинают воспитывать криком, непомерными требованиями, придирками, оскорблениями.

Подростку вовсе не по душе корчить из себя невесть что. Но как остаться самим собой? Не поймут на улице, осудят, осмеют. И чистый пацан начинает подделываться. Нет, не под окружающих. Окружающие иногда такие же нормальные, чистые ребята. А начинает он подделываться, как и все они, под уличные представления о том, каким должен быть настоящий парень.

Так, пытаясь соответствовать уличным стандартам поведения, вполне положительный подросток начинает внутренне разнудываться. Сегодня похабная речь, завтра – похабное действие. Сегодня пьяная лихость в самозащите, завтра – пьяная наглость в нападении. В считанные месяцы гиб-

нут не такие уж сильные ростки внутренней культуры и вырастает чертополох уличного хамства. Вместо нормального человеческого достоинства появляются уличный гонор, стремление возвыситься через унижение других.

Ну и самое главное. Подростки отлично видят, что одни живут хорошо, другие хуже, третьи совсем плохо. И уличный цинизм проникает в мышление, формирует уличную «философию»: хорошо живут только те, кому повезло, кто сумел урвать. И всегда находятся уличные демагоги, которые переорут, перематерят любого, кто попытается доказать, что секрет жизненного успеха вовсе не в «госпоже удаче» и не в умении вертеться. Всегда найдутся примеры, иллюстрирующие расхожее кредо, что только дураки живут по совести, что все крадут, что неподкупных нет и вообще нет ничего святого.

Мат и спиртное развивают внутреннюю разнузданность, от которой до злостного хулиганства, изнасилования, убийства – один шаг. А поднаторев в уличной «философии», совсем не трудно спекулировать, украсть, ограбить, отнять. В особенности в составе своей компании, где чуть не каждый старается превзойти других в лихости и безрассудстве.

Проходят годы, мир меняется, а закономерности, которые приводят пацанов к преступлениям, сохраняются, оставаясь как бы вне времени. Скажем, первые преступления начинаются в рамках своей подростковой среды, которая, будучи закрытой от контроля взрослых, служит инкубатором, в котором вызревают зародыши насилия.

Сегодня отнял у того, кто младше и слабее, пятак. Сошло. Завтра кого-то «поставил на счётчик», завладел тремя рублями. Понравилось ещё больше. Потом приглянулись чужие фирменные шмотки. «Прикидка» тоже обошлась. Среда, строго сохраняющая свои тайны и преступления, помогает в считанные месяцы обессовеститься и обесчеловечиться.

Главный вывод, который я сделал, общаясь с ребятами: чем дальше зашла испорченность компании, тем больше она недовольна миром взрослых. Чем больше у подростков конфликтов с учителями, родителями, милицией, тем больше коллективной агрессивности. И эта агрессивность способствует ещё большей испорченности.

Пацаны были недовольны всем: учителями, которые ставили двойки; родителями, которые постоянно отчитывали и ругались; милицией, которая гоняла их из укромных мест; лёгкой промышленностью, которая производи-

ла ужасную (с их точки зрения) одежду и обувь; студиями грамзаписи, которые выпускали модные диски с опозданием в десять лет; эстрадой, которая смешно подражала западной.

Хуже всего было то, что пацаны ничего особенно не преувеличивали. Например, возмущались, что не выпускают пластинки с песнями Высоцкого. А разве было не так? Разве не зажимали поэта и певца, признанного теперь всенародно? Разве не ругаем мы сегодня лёгкую промышленность? Разве не понимаем, в какой тупик зашла система обучения и воспитания? Но в те годы об этом не принято было писать и говорить открыто. Словесные пары, недовольство подростков выходили на таких вот уличных сходках.

Давление паров от этих распалющихся разговоров только повышалось. И разрядка всеобщего недовольства была порой непредсказуемой. Подвыпившая, разгорячённая спорами компания могла сорвать зло на первом попавшемся прохожем.

Нужно было как-то изменить темы разговоров, открыть форточку для свежего воздуха. Как?

* * *

В первые же минуты знакомства ребята пожелали узнать, что привело меня к ним. Я прямо сказал: хочу собрать несколько влиятельных компаний и создать из них организацию. Именно организацию, а не клуб. Клуб может жить потихоньку сам по себе. А организация действует и внутри себя, и вовне. В клубе могут быть ребята, хорошие сами для себя.

А организация ставит перед собой цель изменить окружающую уличную жизнь настолько, насколько это будет в её силах, и при этом самой стать лучше под влиянием действий, подчинённых этой хорошей цели.

Говорил я, конечно, проще, и пацаны усвоили из моего объяснения самое понятное. Организация будет довольно многочисленной, человек 150–200, сплочённой, дисциплинированной, а стало быть, более сильной, чем любая другая

уличная компания. И, вероятно, пацаны захотели стать этой силой, надеясь, может быть, распорядиться ею по собственному усмотрению, не так, как это виделось мне.

Момент психологически тонкий и немного даже загадочный. Спустя годы я спрашивал парней: почему согласились променять вольницу подворотни на организацию, которая должна была противопоставить себя улице? Ответы не были однозначными. Те, кто боялся попасть в колонию, надеялись, что в организации их падение остановится. У лидеров были свои соображения. Организация могла помочь им добиться ещё большего влияния в уличном мире. Но так или иначе, всех привлекало одно несомненное качество будущей организации – её сила. И в этом не было ничего загадочного. Это в характере улицы: уважать силу, склонять голову перед силой, стремиться стать силой.

Мне, повторяю, не хотелось, чтобы ребята заподозрили, что я поставлен над ними воспитателем и этим моя миссия ограничивается. Но если не воспитатель, то кто же?

Я буду таким же членом организации, как любой из вас, сказал я подросткам. Вы можете избрать меня своим руководителем, а можете избрать кого-то другого. Я буду подчиняться тем законам организации, которые мы вместе установим. Зарплату мне платят в горкоме комсомола, но своим главным начальством я буду считать тех, кто меня изберёт, то есть вас. Если горком скажет одно, а вы – другое, я подчинюсь вам.

Голосование было тайным. Каждый получил чистый листок бумаги и написал, кого он хотел бы видеть во главе организации. Кажется, меня избрали единогласно.

Зачем понадобилось это голосование?

Я встречал немало людей, которые занимались воспитанием, не имея на то ни таланта, ни элементарных способностей, ни морального права. И поэтому я пришёл к решению, что право на руководство организацией, а следовательно – на воспитание, подростки должны дать мне сами, а потом ежегодно подтверждать это право, если я его заслужу.

Ещё мне понравилась мысль К. Д. Ушинского: «Существо бесправное может быть добрым или злым, но нравственным быть не может». И я решил дать пацанам как можно больше таких прав, в которых выразилось бы не декларативное, а реальное уважение к ним. Мне хотелось показать, что я вижу в них не детей, а почти взрослых, способных принимать

серьёзные решения.

Я учитывал также, что улица не терпит, чтобы ей что-то навязывали: ни то, чем она должна заниматься, ни то, как она должна себя вести, ни то, кто будет ею руководить. Я окончательно понял, что нужно воспитывать только теми средствами, которые улица сама утвердит тайным голосованием. Превращение уличной компании – или конгломерата компаний – в подростковую организацию требует замены уличных законов на законы организации. А эту замену нельзя провести приказом – только общим решением всех.

Я исходил из того, что власть уличных вожakov – это деспотия. Стало быть, превращение уличных компаний в подростковую организацию – это своего рода революция, в ходе которой власть должна перейти от уличной камарильи к уличному народу. Но эта революция должна была произойти «бескровно», в процессе демократизации уличной жизни, если прибегать к терминологии сегодняшнего дня.

Я не исключал, что кому-то из уличных лидеров не понравятся мои преобразования. И что в актив придёт других ребят, которые будут меня поддерживать. А для такого выдвижения опять-таки требовался механизм тайного голосования. Чтобы «рядовая масса» принимала решения, не оглядываясь в страхе на вожakov.

В каждой компании своя система управления. Чем меньше командует вожак, чем больше демократии внутри компании, тем свободнее высказывается и больше решает положительное большинство ребят. То есть сама система управления оказывает на подростков воспитывающее воздействие. Следовательно, предложенная мной система демократической выборности лидеров всех рангов была сама по себе системой невидимого воспитания.

Я не сомневался, что большинство ребят пойдут за мной, примут идею организации. Потому что только уличные вожакi мало задумываются о последствиях своего поведения: Основная же масса ребят испытывает страх за себя, тяготеет к цинизму, грубостям, унижениям, общим угаром жизни в подворотне. Я знал: им бы только почувствовать силу и твёрдость в человеке, который предложит им остановиться. Им бы только ощутить свою коллективную сплочённость и силу. И тогда – либо камарилья признает, что она уже не власть, и войдёт в состав организации,– либо

останется вне её, но без уличной массы. Без тех, кто создавал этой камарилье влияние в уличном мире.

* * *

Итак, самое трудное было позади. Компания приняла идею организации. И стала коллективным соавтором в её создании. Трудность была не в том, чтобы зажечь ребят. А в том, чтобы преодолеть собственные сомнения: а вдруг они, такие циничные, развязные, пассивные, такие – разэтакие, не зажгутся?

Зажглись! Почему?

В те годы я читал в газетах утверждения социологов: подростки – самая социально активная категория молодёжи. Непонятно. Почему же «самые активные» так пассивны? Противоречие объяснялось очень просто.

Существо в высшей степени общественное, подросток инстинктивно тянется к деятельному участию в жизни своего ученического коллектива. Этого требует его нерастраченная энергия, жажда борьбы и самоутверждения, тяга к большому и красивому делу, в которое можно было бы вложить без остатка всю душу. Но в условиях формального коллектива с его казёнными и показушными формами жизни это невозможно. И подросток испытывает законное недовольство, социальный протест. Легко объединяется с такими же недовольными. И все вместе они создают свой мир.

Без взрослых, которые говорят одно, а ведут себя по-другому. Без плана работы, за которым не видна живая личность подростка. Создают стихийный коллектив с жёсткими саморегулирующимися отношениями, который сам находит для себя жизненное пространство и сферы приложения сил в наименее подконтрольном взрослым интервале между семьёй и школой, именуемом улицей.

Но этот неформальный коллектив не перестаёт испытывать подсознательную тягу к социальной активности, стремление хоть как-то влиять на окружающую жизнь и удовлетворять свою потребность в борьбе, самоиспытаниях. И начинается разделение уличного мира на компании и группировки. Вражда и борьба за власть. Стремление сплотиться, бросить вызов, принять вызов... Что это, как не суррогат социальной активности?

И вот на улицу приходит взрослый и предлагает вместо

суррогата что-то настоящее. То, о чём едва ли не каждый пацан втайне мечтал: настоящую дружбу, настоящую борьбу, настоящее дело.

* * *

Вездесущие пацаны сами нашли пустующее подвальное помещение площадью больше 400 квадратных метров. Оно принадлежало тракторному заводу. Я пришёл к заместителю директора Е. К. Орловскому и предложил; «Если вам не нравятся кошачьи концерты подростков под вашими окнами (а я узнал, что это ему очень не нравится), пьянчуги в сквере напротив, мелкое хулиганство и прочие беспорядки в заводском микрорайоне, отдайте нам этот подвал». «Кому это вам?» – спросил Орловский. «Выйдите сегодня вечером на балкон – увидите», – сказал я ему.

Вечером толпа пацанов собралась в сквере напротив окон Орловского. Сам Орловский на балкон, конечно, не вышел. Но утром мне позвонила его секретарь: «Обратитесь в наше жэкэо. Вам дадут ключ от помещения».

Начальником жэкэо был Ф. П. Сериков – представительный мужчина с внешностью президента. Он сказал, что помещение требует ремонта, а рабочих у него мало. «Не надо нам рабочих, – сказал я ему. – Ни сейчас, ни в будущем. Всё будем делать сами. Дайте только краску, стройматериалы. И вообще имейте в виду: минимум триста пар рабочих рук – в вашем распоряжении. Если найдётся посильная оплачиваемая работа, мы тут как тут».

Эти слова, а также слова о том, что организация займётся порядком во дворах, определили наши дальнейшие отношения. Все последующие годы, пока Сериков оставался начальником жэкэо, мы жили с ним, что называется, душа в душу. И читая в газетах о распрях между коммунальниками и руководителями подростковых клубов, я не понимал, почему всегда считаются виноватыми управдомы. А может, с ними не нашли общего языка? Может быть, руководители клубов и управдомы не сумели стать взаимно полезными?

Буду откровенным. Не просто так искал я дружбы с начальником жэкэо. Уже ясно было, что с бюджетом будет такая же катавасия, как и с помещением. «Докажите свою способность существовать без бюджета, тогда профинансируем», – полушутя сказали мне в одной уважаемой инстанции.

Из той же инстанции вскоре пожаловали проверяющие. Интересовались ходом ремонта. Спрашивали, как идёт подписка на молодёжные издания. Какие создаются кружки и секции. Я держал себя в руках и терпеливо объяснял, что подписка и кружки – это будет потом, на другом этапе работы. «А что же сейчас?» – допрашивали проверяющие. Я отмалчивался. Не мог же я сказать, что пока что мы оборудуем в подвале свой... бар.

Рядом с нашим подвалом были два настоящих коктейль-бара. Там любили бывать пацаны. Хорошие магнитофонные записи, возможность курить за столиком – благодать! Барменами были взрослые. Завсегдатаями бара – тоже взрослые. Я понимал: бары будут постоянными и очень сильными конкурентами. И я ничего не смогу сделать. Потому что подросткам это нравится: сидеть за столиком, потягивать коктейли, слушать модные записи, болтать о своих делах, выглядеть взрослыми. Что бы ни давала им организация, всего будет мало, если она не будет давать им возможность так же красиво и по-взрослому общаться.

Организация должна давать подросткам примерно то же, что даёт улица, – возможность неформально общаться, неформально развлекаться, неформально влиять друг на друга. Если этого элемента не будет, организация не выдержит конкуренции.

И я сам предложил ребятам оборудовать свой бар. Только с одним непременным условием: коктейли там будут только фруктовые и молочные. Иначе нас не поймут в горкоме комсомола. Меня просто снимут с работы, если коктейли будут другими...

У меня были свои представления о структуре организации. Но жизнь ломала все схемы. К нам потянулись уличные группы со всех концов города: вокзальные, эмдээсовские, алюминстроевские... Первичными подразделениями организации стали именно эти группы, отпавшие от своих районных группировок.

Группировки, в свою очередь, образовывались из ребят, отпавших от школьных коллективов. Теперь они отпадали от группировок. Это показывало, что организация выполняет своё назначение, возвращает пацанов в социальную жизнь.

Но нам требовался единый коллектив, а не рыхлый конгломерат

уличных групп. Надо было сплотить ребят в каком-то большом, возвышающемся деле.

Летом обком комсомола, как и в прежние годы, решил организовать военно-спортивный лагерь для «трудных» подростков. Начали разбирать опыт предшественников: что больше всего мешало им в работе? То, что одни подростки притесняли других. Отбирали вещи, сигареты, деньги. Били, унижали, вынуждали воровать. Проводились интересные мероприятия. Но ни на кого это не действовало. Пацаны были поглощены своими конфликтами. Нет и не может быть воспитания там, где дети целиком заняты своими обидами, враждой, мыслями о побеге в город.

И я предложил послать в лагерь большую группу ребят из нашей организации. Поручить им не давать в обиду слабых, навести в отношениях справедливость, создать атмосферу дружбы и товарищества.

Мнения разделились. «Твоих ребят самих ещё нужно воспитывать», – говорили мне. «Вот пусть они и воспитываются, помогая другим», – доказывал я.

Человек быстрее становится лучше, когда начинает помогать, выручать, спасать.

Решили, что можно попробовать. Но согласятся ли сами ребята? Общий сбор поддержал меня.

* * *

Мы разбили палатки на самом берегу заповедного озера Джасыбай. Поставили мачту, подняли флаг. Название лагеря понравилось ребятам – «Бригантина».

Нас, воспитателей, было пятеро. Пацанов – 70. 70:5 – нормальное соотношение. И всё же мы, впервые отправляясь в бурные воды исправительной педагогики, ощущали себя командой, сознательно взявшей на борт флибустьеров.

Горы окружили озеро со всех сторон подобно стенам огромной чащи. На перевале стоял полосатый шлагбаум. Охрана заповедника могла задержать машину, но не пешего. Если бы кто-то из пацанов вздумал бежать, дорога была открыта.

В прошлом году первым отличился Коля Курочкин. Его настигли в районном центре, на автобусной станции. Пацан бормотал про плохую кормёжку. Смешно было слушать. В столовой кормили, что называется, на убой.

Нет, что-то другое вынудило Колю бежать в город. Но пацан боялся сказать правду. Плакал, клялся, что дальше пляжа ногой не ступит. А через день снова сбежал. Потом ещё... воспитатели с ног сбились. 6 дней из 24 были потрачены на него одного.

Мы изучали опыт прошлогоднего лагеря, как шахматисты сыгранную партию.

В первые дни пацаны особенно часто завязывали драки. Сперва один на один, а потом группа на группу.

Одна мелкая кража следовала за другой. Воровали всё, что попадётся под руку. Деньги, кеды, зубную пасту, мыло, рыболовные принадлежности...

Мальцы вроде Курочкина ходили с размазанными по лицу слезами.

Из-за чего драки? Кто ворует? Кто притесняет младших? Этого воспитатели не знали. Круговая порука была действительно круговой. Не за что ухватить.

Лагерь выполнил одну задачу – изолировал подростков. Будь они в городе, кривая правонарушений по летнему обыкновению поползла бы вверх. Довольны могли быть только инспектора по делам несовершеннолетних. Воспитатели честно признавали своё поражение.

Мы изучили список. Все, кто был в прошлогоднем лагере, оставались на учёте в милиции. И мы решили снова взять их, неисправленных. Но подойти к работе иначе.

Помимо 70 «трудных» мы направили в лагерь три десятка ребят из только что созданной организации. Из них выделялись десятиклассник Виктор Дружинин, учащийся ПТУ Володя Савонов и восьмиклассник Слава Измайлов. Эти трое особенно здорово помогли.

Дружинин хорошо играл в футбол, ещё лучше на гитаре, знает множество туристских песен. На Джасыбай ездил уже несколько лет. Сначала в пионерские лагеря, потом на турбазу. Знал каждую вершину и каждую тропку.

В походах нёс обычно два рюкзака. Свой и какого-нибудь мальчика вроде Курочкина. Был улыбчив и очень добросовестен. На него одинаково полагались и взрослые, и сверстники. Его равно уважали школьные друзья и уличная шпана. Он ладил, не подлаживаясь. Говорил неприятное, не обижая. Превосходил достоинствами, не раздражая ничьё самолюбие. Ставил на место, не бросая вызова.

Дружинин принадлежал к редкому типу мальчишеских лидеров. Он даже не пытался выйти вперёд и повести за собой, Мальчишки сами пристраивались сзади.

Когда мы знакомились, Савонов протянул левую руку. Правая была забинтована. Года два назад сделал себе наколку. И вот теперь выжег какой-то кислотой.

Если бы он жил в прошлом веке и был дворянином, он, наверное, слыл бы жуиром и дуэлянтом. Пришлось взять с Вовки слово даже за правое дело – руки воли не давать, в карты не играть. Играл он, по его словам, по маленькой. По глазам было видно – не врёт.

Уличный стаж у Вовки был порядочный. Но пацан каким-то образом не испортился. В нём был силён инстинкт справедливости, это помогало ему правильно оценивать чужие и собственные поступки. Он, например, терпеть не мог всевозможных ухарей, обижавших младших и слабее себя. А воров просто ненавидел.

Если всё же есть уличная романтика, то Вовка был одним из её лучших представителей. Предложение поехать в лагерь со специальным заданием принял на «ура». И когда кто-то из ребят забывал о своей необычной роли, Вовка многозначительно произносил: «Делайте вашу игру, джентльмены!»

А у Славы Измайлова была внешность домашнего мальчика. Он не курил, не выражался. Смотрел спокойным, чуть насмешливым взглядом. Ко многим из сверстников обращался на «вы». И называл не по имени, а «сударь». Это звучало иронично, но очень естественно. И настраивало собеседника на аристократический лад.

Слава всё время что-то вертел в руках. То проволоку, то деревяшку, то полоску ткани. Неожиданно из этого мусора возникала забавная фигурка птицы, зверя или человека, которую он тут же кому-нибудь дарил и принимался за другую. Иногда Слава прерывал это занятие. Но только для того, чтобы взять бумагу и карандаш. Он мгновенно схватывал чью-то суть и выстраивал её в дружеском шарже.

Каждый ехал под своей фамилией. Но никто из «трудных» не знал о миссии ребят. Поэтому операция получила кодовое название «Инкогнито».

День первый

Ещё в городе, перед посадкой в автобус, Савонов сказал: «Пацаны знают, что шмон будет сразу, как только приедем в лагерь. Вино и водку везут в грелках».

Где спиртное, там ссоры и драки с непредсказуемыми последствиями. ЧП грозило нам в первый же вечер...

В пути Сейфулин на глазах у ребят отобрал у Курочкина три рубля. Видеть это было дико. Слава Измайлов растерялся. Не удивительно. Сейфулин – лоб под метр восемьдесят. Условная судимость.

Перед отъездом он подошёл к начальнику лагеря Виктору Мозуляку.

– Шмон когда будет? Сейчас или когда приедем?

Смотрел на главного воспитателя без малейшего почтения.

Сколько дебатов насчёт того, называть или не называть таких подростков трудными. Сколько ахов и охов по этому поводу. И слово-то негодное, уничижающее, и никакие они не трудные.

Только никто не спросил самих трудных. Обидно им так называться или терпимо. Никто не предложил взамен более ёмкого термина. А ведь он необходим – термин. Хотя и тот, что есть в обиходе, не так уж плох, как многим кажется.

Трудный – это пацан с трудной судьбой. С трудными отношениями с миром взрослых. Трудно ему и с самим собой. Трудный – это подросток, прошедший школу сопротивления воспитанию. Парень хотел бы стать лучше – не может. Трудно. Мешает инерция сопротивления.

Обращение «трудный» может задеть нормального подростка. Настоящим трудным как-то всё равно. Плевать им на то, как их называют. И это «плевать я хотел на всё» выступает на их физиономиях. Сразу ясно, кто перед вами.

– Бутылки и карты везти не советую, – сказал Виктор. – А папиросы... Травитесь, если здоровья не жалко.

Что мы знали о Сейфулине? Был в прошлогоднем лагере. Сначала водил воспитателей за нос – прикинулся активистом. Когда разоблачили, предупредил: «Замучаетесь меня воспитывать». На прощание победно бросил: «Я же предупреждал!»

Несколько младших, увидев Сейфулина, наотрез отказались ехать в лагерь. Две усталые женщины в милицейской форме, из инспекции по делам несовершеннолетних, кое-как уговорили мальцов.

Измайлов потолковал с ними и узнал, что в прошлом году Сейфулин обирал младших и надоел им смертельно. И они, выросшие за минувший год, что-то задумали. Совещались, бросая на Сейфулина мстительные взгляды.

Мы не придали этому известию того значения, какого оно заслуживало. Предположение, что они решили просто побить Сейфулина, как оказалось, было не самым худшим.

Ещё стало известно, что в лагерь едет странный шкет. Рост – метр с кепкой, а пацаны его слушают по первому слову. Уступили лучшее место. И шкет стал внаглую играть в карты. Фамилия его Корнилов.

Мы заглянули в свои бумаги. Против фамилии Валерия Корнилова значилось: «Кражи. Побег из дому. Связь со взрослыми уголовниками. 11 приводов в милицию».

Автобусы шли до лагеря четыре часа. За это время нужно было решить, что делать с грелками. Разузнать, что задумали против Сейфулина младшие. И установить, в каких отношениях Корнилов и Сейфулин.

Они были из разных районов города. Принадлежали к враждующим мальчишеским группировкам.

В условиях улицы, такие задиристые и бескомпромиссные, они могли уклоняться от столкновений. В лагере жизненное пространство ограничивается до размеров палаточного городка.

И начинается грызня. За лучшее место в палатке. За лучшие куски в столовой. Иногда – за первое место по правую руку от воспитателя. За влияние на сверстников и воспитателей.

Нам советовали: отвлеките пацанов от междоусобиц. Дайте такие занятия, чтобы забыли о своих интригах.

Это нормальные подростки принимают всё, что предлагают взрослые. Трудные тем и трудны, что их не вдруг-то переключишь.

Выслушать воспитателей и продолжать свою тайную игру против воспитания – вот их излюбленное занятие.

Плохо, когда борьба мальчишеских сил ведётся весь сезон. Ещё хуже, когда верх берёт какая-то одна группировка. Тогда она бросает вызов даже администрации лагеря.

Короче говоря, мы видели в драках и побегах не чьё-либо упрямое нежелание покориться нашим требованиям, а прямое отражение борьбы в детской массе. И искали пути полного обезвреживания таких, как Сейфулин и Корнилов.

На наше счастье стояла сильная жара. Дорога не везде была асфальтирована. Пацанов укачивало. Иначе они давно приложились бы к грелкам.

Грелок всего было шесть. Четыре у компании Сейфулина. И две у братьев Корнилова. Пацаны, боясь, что воспитатели остановят автобусы и устроят обыск, привязали грелки под рубашками. В расчёте, что воспитатели будут осматривать только вещи.

Мы действительно сделали в пути остановку. И устроили быстрый совет. Ещё в городе условились: воспитатели могут что-то предлагать, но и только. Принимают решения те, кто проникает в тайны «трудных».

– Раньше отбоя ничего не случится, – сказал Савонов. – А до этого времени что-нибудь придумаем.

– Они успеют спрятать. И мы можем не узнать куда, – сказал Дружинин.

Тут подошёл Измайлов и сказал:

– Малышня договорилась бросить Сейфулина в озеро. А он плавает как топор.

Начальник лагеря Виктор Мозуляк потом скажет: «Никто не знал, как лучше поступить в том или ином случае. Но все понимали, что без операции «Инкогнито» могло произойти всё, что пацаны замыслили».

А ведь в городе обсудили, кажется, все неожиданности.

В нашем распоряжении было всего 24 дня. За это время нужно было преодолеть сопротивление неподдающихся. Создать актив, который мог предъявить сверстникам справедливые требования. Утвердить порядок и обстановку товарищества. И только потом вплотную заняться каждым в отдельности.

24 дней катастрофически мало. Если, конечно, ставить задачу действительно перевоспитания.

Спорили, на каждый довод находили опровержение. Ведь мы были с пацанами 24 часа в сутки. Может, уплотнить это время? Повысить коэффициент каждого часа, каждой минуты?

Провели хронометраж. Выяснилось, что общение воспитателей с пацанами занимает в лучшем случае 8 часов в сутки.

Плюсуем 8 часов на сон: 24 – 16 – 6 часов. Это время, которое ребята предоставлены самим себе. А если точнее, находятся под влиянием таких, как Сейфулин и Корнилов.

В прошлом году Сейфулин проявил себя ярким поборником режима. После отбоя загонял младших в палатки. А сам пропадал неизвестно где. Возвращался после полуночи. Сигнал подъёма его не касался. В порядке борьбы с курением отбирал у пацанов сигареты. Часть демонстративно сдавал воспитателям.

Воспитатели понимали: это форменное безобразие. Но Сейфулин повелевал разболтанной пацанвой одним движением бровей. А воспитателей шпана ни во что не ставила. Вот иные и пользовались услугами «активистов».

Вероятно, это происходит само собой. Либо «авторитетные» прохиндеи предлагают своё пособничество. Либо их подталкивают к этому неавторитетные воспитатели.

Макаренко писал, что «требования коллектива являются воспитывающими главным образом по отношению к тем, кто участвует в требованиях». Советовал добиваться такого положения, чтобы на вашу сторону перешли первый, второй, третий активисты, когда около вас организуется группа мальчиков и девочек, которые сознательно хотят поддержать дисциплину.

«Я спешил с этим, – писал Макаренко. – Я не глядел на то, что эти девочки и мальчики имеют также много недостатков».

Ну что ж, воспитанники Макаренко жили бок о бок с ним годами. Можно было постепенно развивать требования. И постепенно выводить на чистую воду лже-активистов. В летнем лагере для «трудных» для этого нет времени. Здесь педагогическая партия должна играть в темпе блиц. (Будь Макаренко на нашем месте, он наверняка рассудил бы точно так же.)

В прошлом году наши предшественники расстарались. Пацаны стреляли из настоящих автоматов. Изучали приёмы самбо. Ходили в турпоход. В лагере выступал популярный в городе вокально-инструментальный ансамбль. Воспитатели проводили проникновенные беседы...

А в это время Сейфулин грабил и мучил Курочкина. И не его одного. В таких условиях сознание мальчишек не могло решать задачу, которую ставили воспитатели: как стать лучше? Сознание было занято одной мыслью: как избавиться от мучителя?

Нет, грош цена самым увлекательным занятиям и лучшим разработкам мероприятий, если в детской массе царят насилие, произвол, грызня, воровство. Воспитание похоже на заезженную пластинку, которую пацаны не слышат. Все заняты своими отношениями.

Вот почему мы отреклись от веры в чудодейственную силу плана занятий и мероприятий. И занялись оздоровлением детских отношений.

В прошлом году инциденты сократились к двадцатому дню сезона. Красть было нечего. Всё, что могли украсть друг у друга, уже украли. Сейфулин подавил последних, кто самолюбиво отстаивал свою независимость.

Мы решили полностью прекратить притеснения, драки и воровство в течение первой недели.

День второй

Дружинин и Савонов не спускали глаз с Сейфулина. Одно происшествие предотвратили, а другое прозевали. Сейфулин жестоко высек Курочкина крапивой. Тот якобы украл у него, Сейфулина, удочку.

Враньё! Удочка стояла на своём месте в палатке. Измайлов тут же узнал от младших, как всё было. Сейфулин требовал у Курочкина деньги на выпивку. Тот отдал всё, что оставалось – последние три рубля. Сейфулин не поверил и решил выколотить деньги крапивой.

– Начнут топить гада, не стану спасать, – сказал Савонов.

Детективная форма операции первое время скрывала её сложную психологическую суть. И вот, наконец, парни стали понимать, что дело у них вовсе не приключенческое, не авантюрное, а очень даже серьёзное.

Теперь следовало ожидать чего-то одного. Либо Курочкин сбежит, либо покарает притеснителя.

После того как грелки были изъяты, шпана буквально заболела идеей раздобыть-таки спиртное и напиться до зелёных чертей назло коварным воспитателям.

Виктор Мозуляк собрал младших и сказал: «Знаю, что деньги у вас только на курево. Привычка вредная, не одобряю. Но знаю, что запретить не смогу. А вот деньги сдайте. У нас они целыми будут. Выдадим каждому по мере надобности».

Куда деваться? Сдали.

Савонов сообщил: «Сейфулин рвёт и мечет».

Ещё бы! На эти денежки он мог бы паразитировать с приспешниками весь сезон. И мы бы только догадывались, как финансируются попойки.

В прошлогоднем лагере применялся известный набор взысканий. Устный выговор, выговор перед строем, наряд вне очереди, сидение под арестом...

Ни один из проштрафившихся не чувствовал себя по-настоящему виноватым. Каждый считал, что он был вынужден поступить именно так, как он поступил. И, стало быть, тяжесть наказания превышает тяжесть проступка. И потому наказание нельзя считать справедливым на все сто процентов.

А если наказание несправедливо, значит, это оскорбление, насилие над личностью и т. п. В общем обычная логика «трудных», построенная на стремлении оправдаться любой ценой.

У нас не было чётких педагогических воззрений. У нас были педагогические догадки и предчувствия. Так вот, мы предчувствовали, что близкое воспитание возможно только при нашей максимальной душевной близости к пацанам.

«Трудный» смотрит исподлобья. Швыряет слова, держит дистанцию. Он хлебнул своё от сверстников. Но это терпимо по сравнению с тем, сколько достаётся... Ну хотя бы, скажем, от беспутных родителей, таких, как у Курочкина... Попробуй к такому приблизиться. Держится как на приёме в клинике. Не видит пользы в лечении. С отвращением ждёт, какую гадость пропишет врач.

Пока воспитатель найдёт подход, сколько номеров выкинет «трудный». И надо реагировать. И не всегда внушением. Наказывать нужно. Хотя бы для острастки других. А наказание только отдаляет подростка (и тех, кто с ним солидарен) от воспитателя.

Отдаляет. А настоящее воспитание требует сближения.

Как быть? Вообще отказаться от наказаний? А почему бы и нет, если они всё равно не действуют на сознание?

Мы старались рассуждать логически. Невозможно за 24 дня воспитать честность, трудолюбие, доброту и прочие лучшие качества. Нужно сосредоточиться на чём-то одном, немногом. Но самом главном. Это во-первых.

И, во-вторых, через 24 дня пацаны вернутся в свои уличные компании. И снова примутся за старое, если. Если за 24 дня мы не снабдим каждого неким внутренним тормозом.

Итак, мы должны были воспитать такое качество, которое было бы иммунитетом против дурного влияния сверстников. Остановились на достоинстве.

Выбор был спорным. Человек с достоинством – это человек, которому есть за что себя уважать. Человек с чувством гордости за свои достоинства. Но много ли достоинств у «трудных»? Кот заплакал.

Да, видимых негусто. А насчёт скрытых – ещё неизвестно. Была охота «трудному» проявляться положительно. Никто из сверстников этого не ждёт. Могут даже осудить. За излишнюю честность, например. Или за стремление навести какую-то справедливость.

А со взрослыми такие отношения, что с души воротит показаться с лучшей стороны. Ещё подумают, что это их влияние.

Ну а если обратиться, к достоинству подростков, закрыв глаза на все его пороки? Не побудит ли это его проявлять скрытые достоинства? Не появится ли следом чувство гордости?

К вечеру кто-то подбросил в штабную палатку клочок бумаги с корявым текстом: «Уберите с лагеря Сейфулина. Или ему крышка». Вместо «крышки» было, конечно, другое словечко.

Виктор Мозуляк срочно собрал воспитателей. Кто-то предложил воздержаться от купания. Виктор покачал головой и вспомнил чьи-то слова: «С опасностью легче справиться, когда она максимально приближена».

Потом эта мысль подтвердилась. Мы могли отдалить кризис. Но не в нашей воле было его отменить. Решили, что Сейфулина будет подстраховывать один из воспитателей. Кто лучше других плавает.

К концу дня все сошлись во мнении: между компаниями Сейфулина и Корнилова что-то затевается. Обе стороны запасаются палками.

А Корнилов что-то нашёптывал Курочкину. После вечерней проверки они оба куда-то исчезли. Исчез и тот, кто за ними наблюдал. Слава Измайлов.

В это время Савонов сообщил: «Сейфулин направился к озеру».

Вскоре оттуда донёсся вопль.

Втроём они легко вытащили Сейфулина из воды. Возможно (жить-то охота), тот выплыл бы сам. Но как знать...

Савонов не удержался и дал Сейфулину затрещину. У того и так колени ходили ходуном. Рухнул как подкошенный. Савонов склонился над ним, схватил за грудки: «Ты понял, за что тебя хотели к рыбам отправить?» Сейфулин что-то промычал. Он был в шоке.

А когда вернулись в лагерь, там нас ждал начальник турбазы.

– Я здесь чуть ли не всю жизнь работал, – сказал он хмуро, – но такого ещё не было. Кто-то залез в кладовую столовой.

Взломали киоск «Союзпечати». Это ваши. Больше никому.

Около часу ночи Корнилов и Курочкин вернулись. Следом из темноты возник Измайлов.

Все участники операции срочно собрались на ночном пляже. Слава взволнованно рассказал, как Корнилов и Курочкин украли коробки с тушёной, сгущённой и сигаретами. Как спрятали всё это в горах. Место известно. Как увели (на турбазе ещё не хватились) вёсельную лодку и спрятали в камышах.

– Здесь неподалёку Змеиный остров, – сказал Слава. – Хотят пожить там дикарями. Корнилов, Курочкин и ещё несколько пацанов.

– Сейфулин, кажется, увял, – сказал Дружинин. – Но что делать с Корниловым? Завтра день присяги. Вместе со всеми будет клясться...

– Какая может быть для вора присяга?! – вспыхнул Савонов.

Стандартные меры воздействия дают стандартные педагогические последствия.

Мы должны были отступить от стандарта. И ребята из группы «Инкоgnито» знали об этом.

Придумывая способы воздействия, они мысленно примеряли их на себя. Они знали общую установку: прежде всего взывать к гордости, обращаться к достоинству. Создавать ситуации, когда наказания как такового нет вообще, а есть только подведение к самоказнящему чувству недовольства и стыда.

– У меня идея, – сказал Измайлов. – Там, где они сделали тайник, ровная площадка между утёсом и озером...

День третий

Площадка, действительно, была подходящая. Семьдесят пацанов свободно встали в две шеренги.

Солнце ушло за скалу, не било в глаза. Всё вокруг было залито ровным полуденным светом. Внизу нежилось изумрудное озеро. И на многометровой глубине был виден каждый камешек.

Виктор Мозуляк скомандовал «смирно». Это был сигнал. Дружинин вышел из-за скалы со знаменем. И встал там, где был тайник.

Появление Дружинина было неожиданностью для пацанов.

Подобрались, замерли.

– Сегодня у нас особенный день,– сказал Виктор.– Но все вы знаете, что произошло на турбазе. Подозрение оскорбляет. Но, может быть, нас подозревают не случайно?.. Если у того, кто это сделал, ещё есть совесть, тот должен отказаться от присяги. Или честно сказать, где краденое, а потом поклясться, что никогда больше не возьмёт чужого.

Корнилов стиснул зубы, глаза его напряжённо застыли. Курочкин сжимал и разжимал кулаки. Ладони его, похоже, были мокрыми.

– К сожалению, у нас произошло ещё одно ЧП,– продолжал начальник лагеря. – Кое-кто из старших грабит младших, издевается над ними. Но всему приходит конец. И чьему-то терпению, и чьему-то произволу. Сегодня мы поклянёмся быть справедливыми друг к другу. Поклянёмся на верность мужскому братству. И пусть никто не произнесёт слово «клянусь» просто так, по обязанности...

Потом Дружинин зачитал текст присяги. И каждый выходил из строя, произносил слово «клянусь», целовал знамя и возвращался в строй.

Никто не вызывал пацанов по списку. Они выходили сами. Сначала неуверенно, поглядывая друг на друга... Эта церемония могла бы сорваться. Но были участники операции «Инкогнито». Они выходили первыми. И потянули за собой «трудных». Присоединили их к себе. И противопоставили тем, у кого, как говорится, шапка на голове горела.

Сейфулин и его дружки, Корнилов и Курочкин, ловили на себе десятки взглядов, нервничали. Тянулась пауза. И Виктор продлил её столько, сколько требовалось, чтобы морально изолировать отказавшихся от присяги. Потом дал знак Дружинину. И тот увёл пацанов в лагерь.

– Отправьте нас в город, – посовещавшись с дружками, сказал Сейфулин.

По нему было видно: не отпустим – сбежит.

Потом Мозуляк скажет: «Можно было бы и отправить. Чтобы не мучили воду. И не мешали воспитывать других, не таких тёртых. Но у нас, воспитателей, появилась уверенность в своих силах. Сейфулин и Корнилов не понимали, что происходит. Что бы они ни задумывали, ничего

не получалось... Теперь надо было вернуть их в среду ребят».

– Мы подумаем, как с вами быть, – сказал Мозуляк. – А пока отправляйтесь в столовую. Помогите на кухне. Сегодня у нас торжественный ужин.

Сейфулина на кухню? С его-то гонором? Тут Мозуляк, быть может, пережал. А может, специально ускорил ход событий к кульминации и развязке. Только не знал начальник лагеря, что делать с Корниловым и Курочкиным.

Жестом велел воришкам приблизиться к тайнику и извлечь на божий свет коробки. Потом спросил:

– Сами отнесёте или помочь?

Курочкин – в слёзы. А Корнилов сцелил зубы:

– Не понесу.

– Может, тебя тоже в город?

– Не надо! – как-то странно дёрнулся Корнилов.

– Зачем собирался на Змеиный остров? Чем в лагере плохо?

– У Сейфулина ребят больше. Да и неохота сражаться. Отдохнуть охота.

И Корнилов грустно усмехнулся.

– Мы так решили, – подал голос Курочкин. – Будем на острове как потерпевшие кораблекрушение. У Корнилова, сами знаете, какая фамилия.

А вечером, когда снова собрались на пляже, Савонов сказал:

– Я бы тоже с удовольствием сбежал. Взял бы удочку, сухари, соль, спички, котелок... Двое суток, больше не надо. Зато воспоминаний на всю жизнь.

Так и решили. Всем охота побыть робинзонами. Установили очередь. Кто за кем «сбегает». И кто с кем «сбегает».

Воспитатели записались на конец сезона.

Это решение очень сблизило нас с ребятами. Отношения стали проще, теплее.

Но это было потом, чуть позже.

А в тот день, ближе к вечеру, Савонову передали, что Сейфулин ждёт его неподалёку от лагеря.

Сейфулин сидел на валуне и бросал в озеро «блинчики».

– Я что-то не видел тебя в городе, – процедил он по-уличному.

Пацаны разговаривают на своём языке. Говоря одно, они имеют в виду то, что понятно только им, уличным.

– Ещё увидишь. Какие твои годы, – усмехнулся Савонов.

– Я так понял: вас тут лбов пятнадцать, – сказал Сейфулин. – Только никак не врублюсь, чего вы хотите.

– Поймёшь. Какие твои годы, – сказал Савонов.

– Я тебя вот по этой скале размажу, – сказал Сейфулин.

Савонов знал, с кем говорит. Прежде чем ответить, посмотрел по сторонам. Дорога в лагерь была отрезана. Ближайшие дружки Сейфулина подходили медленно, наслаждаясь превосходством...

Савонов нарушил одно из правил операции: без нужды не рисковать. Никого не предупредил. Отправился один. Но от Дружинина это не укрылось. Следом за Савоновым пошли ребята из группы «Инкогнито».

Они знали друг друга не один год. И не будем забывать: они тоже были подростками.

Назревало решительное столкновение. Но не зря мы поставили во главе ребят Дружинина.

– Сейфулин, – сказал он спокойно. – Ты всё рассчитал?

Сейфулин обомлел. Он не ожидал, что соотношение сил так неожиданно изменится. А драться против равного противника не привык.

– Ты вроде неглупый мужик, Сейфулин, – сказал Дружинин. – Пойми, наконец: у тебя не пройдёт ни один номер. Если добром не поймёшь, тебя снова бросят в воду. А мы можем не подоспеть...

К полуночи стало ясно, что Сейфулин и двое его дружков всё-таки удрали. Остальные остались в лагере. Что ж, это тоже была кое-какая победа.

День четвёртый

Начальником операций «Робинзоны» был назначен Корнилов.

И Валерка следил, чтобы никто не взял с собой лишнего. Отказался выдать спички. «Обойдётся стеклом от часов». Разрешил взять нож для разделки рыбы. Вернул лодку на турбазу. Взял взамен (Мозуляк договорился) рассохшуюся. Как заправский мореход заделал трещины, залил битумом.

В лагере был полный штиль. Лица мальчишек посветлели. Исчезла обычная истерия, хмурость. Борьба за

власть над сверстниками кончилась. Корнилов об этом уже не помышлял. А Сейфулин скрывался где-то в горах.

Об этом мы узнали от тех его дружков, которые оставались в лагере. Узнал всё тот же Савонов. Он же разузнал и детали. «Сейфулин просто так не утрётся. Отомстит и Курочкину, и мне. За то, что я ему врезал». Да, это было похоже на Сейфулина.

И участники операции решили показать ещё раз, что даже такой оголтелый уличный шишкарь – козьявка, когда ему противостоит сплочённая здоровая сила. Было решено устроить поиск и вернуть Сейфулина в лагерь в считанные часы.

Каждый получил красный флажок. Наблюдателям в лагере выдали бинокли. Усиленную группу перехвата отправили на перевал.

И правильно сделали. Сейфулин с дружками прятались вблизи лагеря. Сразу смекнули, что затевается. И бросились к перевалу. Увидели: не проскользнуть. И повернули обратно. Тут-то их и заметили. Подали условный сигнал в лагерь. И оттуда всем группам поиска было дано направление поиска.

Кольцо быстро сжималось. И здесь Виктор Мозуляк принял верное решение. Выстрелом из ракетницы объявил отбой. Хотел лично задержать Сейфулина. Нет, не из какого-то тщеславия. Знал гонор этого парня. И хотел сделать капитуляцию не слишком позорной. Одно дело быть настигнутым начальником лагеря. И совсем другое дело – группой таких, как Курочкин.

Мозуляк настиг было Сейфулина. Но тот внезапно подскочил, схватился за ногу, упал и завопил: «Змея укусила!» Мозуляк взгляделся. Действительно, на ноге ранка, сочится кровь.

Виктор снял брючный ремень. Наложил жгут. И крикнул дружкам Сейфулина, чтобы помогли сопроводить предводителя в лагерь, но те со смешком побежали дальше. Сгоряча Виктор решил догнать одного. Пробежал метров сто. И тут его остановил издевательский смех. Мозуляк оглянулся; Сейфулин как ни в чём не бывало карабкался наверх.

Не было никакого укуса. Выдохлись пацаны. Вот и решил Сейфулин схитрить. А тут кстати на пути колючий куст шиповника... Только не учёл Сейфулин, что разозлится начальник, недавний солдат-десантник.

Сейфулин понял: ноги уже не помогут. Нужно где-то затаиться. Пошёл узкой тропкой по-над озером. Хотел

обойти Мозуляка и спрятаться в тылу. Но тропка внезапно оборвалась. Сейфулин хотел было повернуть назад. При этом бросил взгляд вниз, на озеро. И то ли от жары, то ли от усталости, то ли от водобоязни, но у него закружилась голова. На всякого, наверное, это произвело бы впечатление. До воды метров двенадцать, виден каждый камешек и кажется, что воды по колено.

Мозуляк крепко ухватил Сейфулина за локоть: «Давай за мной потихоньку, приставным шагом».

– Не могу, – сказал Сейфулин.

Они стояли, тяжело дыша. Лицом к скале, спиной к озеру, Мозуляк пытался подбодрить парня – без толку.

– Ладно, я пойду, – сказал Мозуляк. – Выбирайся сам.

– Н-не надо! Я разобьюсь, – Сейфулин дрожал всем телом.

Мозуляк только теперь посмотрел вниз, и ему самому стало не по себе. Перед водой был скальный выступ. Если бы они нечаянно сорвались – конец.

«Сам он отсюда уже не выберется», – подумал Мозуляк. И предложил:

– Давай хорошенько оттолкнёмся и прыгнем вниз солдатиками.

– Н-нет.

– Ну, наберись мужества.

– Н-нет, тут мелко.

– Это только кажется. Очень прозрачная вода. Здесь метров шесть глубины.

– Н-нет.

Мозуляк не знал, на что решиться. Он мог прыгнуть и подтолкнуть, сорвать с тропинки Сейфулина. Но тот мёртво вцепился руками в гранитный выступ. У них было только одно спасение – в согласованности действий.

– Слушай, – сказал наконец Мозуляк, теряя последнее терпение. – Ты, наверное, впервые в жизни можешь поступить как настоящий мужчина.

Сейфулин посматривал вниз, что-то мерил взглядом и собирался с духом. Мозуляк молча смотрел на него. Он понимал, что, когда в мальчишке рождается мужчина, лучше помолчать.

– Ладно, была не была, – осевшим голосом сказал Сейфулин.

– Отталкиваемся и прыгаем на счёт три, – сказал Мозуляк. – Если ты не прыгнешь, я всё равно сдёрну тебя отсюда и тогда разобьёмся вместе.

– Прыгну, – сказал Сейфулин.

Наверное, ему надоело трястись от страха.

И они полетели вниз.

Потом посидели немного на том самом проклятом выступе. Отдышались. Потом немного отплыли, чтобы выбраться на берег в подходящем месте. Сейфулин «плыл», держась руками за нависшие скалы. Кажется, у него исчезла паническая водобоязнь.

«Неужели для того, чтобы в подростке что-то изменилось, должно произойти что-то из ряда вон? – думал Мозуляк. – Неужели есть и такая закономерность? Человек глумится над чем-то или над кем-то, когда его подсознательно унижает какая-то собственная низость. Этот паршивец избавился сразу от двух страхов. Неужели теперь он не будет о себе лучшего мнения? И неужели это мнение не остановит его перед возможностью сподличать?»

– Я никому не скажу, как долго ты не решался, – сказал Мозуляк.

Специально сказал.

Сейфулин усмехнулся:

– Я сам расскажу.

Прозвучало устало и как-то по-взрослому.

Они шли в лагерь около часа. За это время произошло худшее несчастье для этих мест. Начался лесной пожар. В лагерь прискакал на взмыленной лошади лесник-казах. «Пожарные приедут часа через два. Заняты на другом пожаре».

Пацаны, во все глаза смотрели на воспитателей. Ждали приказа. Но никто не мог принять такое решение без Мозуляка. И когда в ближайшем предгорье показалась знакомая фигура, лагерь сорвался с места и побежал навстречу.

Лесной пожар в горах штука опасная. Но Мозуляк видел: если не разрешить, всё равно побегут. Да и можно ли гасить в пацанах такой порыв?

Нам хорошо известно, что вызывает порчу подростка. Но никто не может сказать, как происходит исправление. Особенно неподдающихся вроде Сейфулина.

Сейфулин совершил против Курочкина вереницу преступлений. Можно было предать поганца товарищескому суду. Такая мера была бы поддержана большинством ребят. Даже теми из них, у кого хватало своих грешков. Ну, вынесли бы они свой приговор. А дальше что? Подействовало

бы на Сейфулина?

Едва ли: во-первых, «не вам меня судить», во-вторых, учтём его горор. Такой, даже чувствуя вину, не покается.

«Трудного» с сильным характером едва ли пронять методами давления. От этого его сопротивляемость только возрастает. Единственный верный способ (коли он привык подчиняться только самому себе) – подвести к самоисправлению. Чтобы не дошёл он до народного суда, подвести к суду над самим собой. К моменту искупления и очищения. Только не в волнующих словах клятвы. Для этого он слишком груб и бесчувствен. Не в слёзах раскаяния. Можно ли равнять его с Курочкиным? Не в чувстве благодарности за прощённое преступление, как это было с Корниловым. А искупление в действиях, требующих действительной, а не мнимой силы характера. Очищение путём вытеснения худших качеств лучшими.

Мозуляку пришла в голову дикая мысль. Если бы он знал, что для окончательного исправления Сейфулина нужен лесной пожар, он, наверное, пошёл бы в лес и бросил спичку. А потом послал в огонь этого паршивца и пошёл бы рядом.

Участники операции «Инкогнито» терпеливо ждали, что скажет Мозуляк. А «трудные» уговаривали, умоляли. Даже Сейфулин глядел просительно.

Выстроили цепочку от озера до места пожара. Передавали вёдра с водой. Сбивали пламя сосновыми ветками. Не жалели рубах, курток. Спустя два часа, когда прибыли пожарные, очаг пожара уже был подавлен.

Лежали у озера. Никто не купался. Не было сил. Отдышались. Пригляделись друг к другу. Мордахи в копоти. Только глаза блестят да зубы. И принялись хохотать. Смех был хороший. Здоровый детский смех.

А вечером лесники привезли смирных лошадей. Учили пацанов верховой езде. Угощали кумысом и лепёшками. Давно, ещё во время тушения пожара, вернулись дружки Сейфулина. И никто не обратил на них никакого внимания. Только напряглись у пацанов лица, когда к лагерю подкатил лицейский газик и из него вышли два в штатском.

– За Корниловым, – сказали они Мозуляку.

Не зря мечталось отдохнуть «адмиралу». Числилась за ним довольно крупная кража. Не стали бы ехать в такую даль из-за ерунды.

Корнилов собрал свои пожитки и обречённо сел у штабной палатки. Его окружили сочувствующие. А Мозуляк что-то обсуждал с прибывшими.

Они вышли из палатки через полчаса. Корнилов поднялся навстречу. Двое в штатском выразительно смотрели на него. Уже собрался весь лагерь. Никто не понимал, что происходит. Но всем было жалко Корнилова.

– Корнилов совершил в городе серьёзное преступление, – сказал Мозуляк. – Но я видел, как он сражался сегодня с огнём. Мы все видели, как он увлечён операцией «Робинзоны»... С Корниловым разберутся по справедливости. Но я попросил, чтобы суд отсрочили до закрытия лагеря. К тому времени мы получше узнаем Валерку. Я хочу сказать, что мы узнаем какие-то ещё хорошие качества. А может быть, и сами, все вместе, станем другими, тогда сможем пойти в суд и просить, чтобы Корнилову отсрочили исполнение приговора.

Никто не кричал «ура». Все молчали. Но у всех были такие лица... Чувство благодарности полагалось испытывать одному Валерке Корнилову. Испытывали все.

* * *

В последующие годы у нас были свои летние лагеря. И потому не было необходимости снова проводить подобные операции. Мы брали в свои лагеря по несколько десятков «трудных». И они не очень-то поднимали головы, хорошо понимая, в чьём лагере находятся.

Но я вспоминаю, как изменились ребята из группы «Инкогнито» за тот летний месяц, насколько стали серьёзней, и думаю, что подобные операции просто необходимы в начальном периоде создания подростковой организации. Группа «Инкогнито» вернулась в город крепким коллективом, стала ядром организации.

На закрытии лагеря участники операции построились в новых формах, специально пошитых для этого случая. Для них это была награда. Для остальных ребят – сюрприз и открытие нашей организации. Часть «трудных» вернулась в город вместе с группой «Инкогнито» и записалась в организацию.

В то лето мы убедились, что даже не самые благополучные подростки могут положительно влиять на своих сверстников. Операция «Инкогнито» виделась теперь далеко не единственным вариантом работы, основанной на этом убеждении.

* * *

Чем занять ребят? Этот вопрос встаёт перед каждым, кто решает создать подростковую организацию.

Я шёл от жизни: а чем занимается улица? Там три основных занятия. Пацаны балдеют, то есть устраивают себе разные увеселения. Они ведут толковища, то есть обсуждают окружающую жизнь и нас, взрослых. И их постоянно «волокет на подвиги». Что это такое, объяснять, думаю, не надо.

Логика была проста. Жизнь организации должна иметь примерно те же внешние признаки, что и жизнь улицы. Необходим мажор, приподнятость эмоций – как альтернатива балдёжу. Особое место должно быть отведено самоутверждению – борьбе, риску, испытаниям силы и духа.

Если в организации не будет того, к чему ребята привыкли на улице, они быстро разочаруются и уйдут.

А нужно сделать так, чтобы организация давала то же, что даёт улица, и ещё что-то, чего улица не даёт, но к чему подросток тянется всей душой.

Уличная компания защитит пацана от другой компании. Но сама может унижать. Или допускать унижение со стороны вожаков. Как ни крути, настоящей дружбы, о которой мечтает каждый пацан, на улице нет.

Спросите уличных, какое качество они больше ценят в родителях, учителях. Держу пари, большинство скажет: доброту. А сами – добрые? Кто-то по отношению к кому-то – да. А все по отношению к каждому? Увы.

А что мешают? (Вот он, самый главный вопрос!)

Мешает навязчивое стремление к уличному суперменству. Боязнь показаться мягким, добреньким. Потому что «супермену» больше подходит жёсткость, грубость.

Это суперменство нужно было как-то выбить из тех, кто был им особенно заражён. Но слова, беседы, мероприятия были тут бессильны...

* * *

В наш первый поход мы отправились 10 апреля. По Иртышу ещё шёл лёд. Предстояло пройти для начала немного – километров восемь, потом – переправиться на остров. И ровно в полночь при свете факелов дать клятву.

Я знал, что несколько наших «суперменов» настроены не так романтически, как другие. В рюкзаках отчётливо звякали бутылки. Шли как на пикник. Но они ещё не ходили

«балдеть» за 8 километров. Кишка тонка. И тем более не ходили в темпе марш-броска.

Минут через сорок мы вышли на высокий берег Иртыша. «Супермены» рухнули на песок: «Не надо переправы. Поставим лагерь здесь». Я молчал. Отвечали по-настоящему выносливые ребята. «А для чего мы взяли девиз: «Через невозможное – вперёд»?» – сказал кто-то. «Супермены» вяло огрызались.

А дальше началось испытание не только для них, не только для всех, но и для меня самого. Неожиданно поднялся сильный ветер. На Иртыше разыгрался настоящий шторм. А у нас на всех, одна лодка. И та рассыпаясь.

«Супермены» с жаром принялись доказывать, что переправа ни к чему. В чём-то они были правы. Жизнями других ребят, действительно, не стоило рисковать. Но их, «суперменов», надо было протащить по пенным волнам Иртыша, в утлой лодчонке, из которой приходилось лихорадочно вычерпывать воду.

Лодка могла вместить не больше шести человек. Нас было вдесятеро больше. Столько же пришлось сделать рейсов. Ладони были в мозолях. Нервы натянуты до предела... Я ругал себя за мальчишество. Но лица ребят, гордых, что попали в нештучный переплёт, и кислые физиономии «суперменов» говорили, что иногда и мальчишество бывает полезным.

А потом, в полночь, ребята поклялись, что не отступят перед трудностями, какими бы они ни были, будут соблюдать дисциплину, какой бы крутой она ни была.

Клятва должна была помочь прежде всего «суперменам». Они первыми могли захандрить, испугаться трудностей, особенно трудностей труда, и уйти из организации, вернуться на улицу. Поэтому в тексте клятвы были слова о верности организации.

* * *

– Зачем вам столько походов, поездок, общих сборов? – говорили мне проверяющие. – Почему не откроете нормальные кружки, секции?

Я мог бы сказать, что не так-то просто найти тренеров, которые пожелали бы заниматься с ребятами за спасибо. Я мог бы сказать, что для многих секций у нас элементарно нет инвентаря и нам никто его не обещает.

Всё это было бы правдой. Но это не было главной причиной отсутствия секций и кружков.

Я заметил одну закономерность. Ребятам нравилось, когда они все вместе. Скажем, одни участвуют в каком-то соревновании, а другие болеют. Нравилось, когда мы куда-нибудь шли походным порядком или ехали автобусом. Нравилось, когда играет гитара и поются песни. То есть им нравились динамика, многолюдство, состязательность, эмоциональность обстановки.

И в то же время подростки плохо посещали секции самбо, бокса, хотя они считались наиболее престижными.

Мы купили на заработанные деньги два лёгких мотоцикла. Но желающих изучать устройство набралось не больше десятка. Зато когда объявили, что каждый может научиться вождению, собралось не меньше сотни.

Секцию бокса начал вести известный в городе мастер. Но желающих заниматься набралось не больше двух десятков. А когда один из родителей (начальник цеха на тракторном заводе) изготовил нам боксёрский ринг и общий сбор постановил, что каждый должен провести на ринге хотя бы один бой, то не оказалось ни одного, кто бы старался увильнуть.

Тут была тонкость, которую я сам не сразу понял. Ребята пришли компаниями. Кто-то, предположим, очень хотел заниматься самбо, но не записывался, потому что не шли другие. А в одиночку желающий не шёл. Сказывалась уличная привычка держаться кучей.

Только позже, когда из разрозненных групп сложился единый коллектив, кружки и секции работали без проблем. Но отношение к ним было у нас особое, своё.

Помню, на посещаемость жаловался даже известный в городе тренер. Но стоило нам начать активное вмешательство в жизнь улицы, как посещаемость резко поднялась. А когда группа ребят стала дежурить в горотделе уголовного розыска, тренировки по самбо пришлось проводить почти ежедневно.

Девочки не очень охотно занимались медицинской подготовкой и кулинарией. Но когда мы решили ехать в летний лагерь без медсестры и повара, посещаемость стала стопроцентной.

И мы оставили только те кружки, секции, занятия, которые играли обслуживающую роль, которые имели чисто практическое значение, готовя ребят к какому-нибудь необходимому делу.

Что правда, то правда. Я не спешил с кружками и секциями. В особенности с теми, где развивается сила, ловкость, реакция. Потому что знал: тренера едва хватает на то, чтобы развить у ребят физические качества. А нам – для настоящего воспитания – нужно было развивать прежде всего качества нравственные.

Потому что без развития этих качеств занятия самбо и боксом только увеличивали бы суперменские способности подростков, только подыгрывали бы их стремлению утверждать своё «я» за счёт унижения других. То есть мешали бы тому воспитанию, которое намечалось.

Это, конечно, удобно и просто – оценивать воспитательную работу по количеству кружков, секций, мероприятий. Но реально воспитывают только те занятия, которые развивают в коллективе нормальные человеческие взаимоотношения. И прежде всего всеобщую дружбу, ребячье братство.

* * *

Мы много ходили пешком, причём с полной выкладкой. Более сильные брали у младших и у девочек часть ноши. И по праву немножко этим гордились. Когда один из бывших «суперменов» посадил 12-летнего пацанёнка себе на шею, я сказал себе: «Браво!»

Мы много ездили на автобусе. И вскоре стало нормой, что первыми входят и занимают места девочки и младшие. А остальные терпеливо ждут. Те, кто первыми заняли места, старались потесниться. В итоге никто не бывал в обиде.

Мы не просто ходили в походы, а ходили так, чтобы к концу пути каждый чувствовал настоящую, может быть, предельную усталость. Ребята падали с ног, но были довольны, что выдержали заданный темп.

Мы любили бывать среди природы. Каждую субботу выходили за город с ночёвкой. Я специально уводил ребят от соблазнов и маяты двух выходных дней. Сидеть у костра и петь задушевные песни – это было лучше, чем колобродить в ночном городе.

Да, я поощрял страсть ребят к самоиспытаниям. Но сколько можно твердить, что «в жизни всегда есть место подвигу», и бояться однодневной вылазки за город?

Вместо уличной героики нужно было создать героику организации. Но и здесь надо было идти от жизни. Каждому

современному подростку хочется быть героем собственной жизни. От этого никуда не денешься. И мы разрабатывали новые и новые варианты военных игр. Некоторые проводили ночью за городом. С использованием дымовых шашек и взрывпакетов. С реальным риском заблудиться, получить травму. С реальной возможностью натерпеться страхов и укрепить сердце.

Весной я собрал десятерых пацанов, которым грозило второгодничество. Велел одеться потеплее, взять суточный запас продуктов, дал рацию и карту. На карте был обозначен примерный маршрут, по которому группа должна была пройти, каждый час выходя на связь с радистом штаба организации. Старшим был поставлен Вовка Рыжов, бывший уличный «супермен», хронический двоечник.

Половину пути ребятам пришлось идти вброд по весенней воде разлившегося Иртыша. Ночь они провели без сна. Их ели комары. И они знали, что где-то рядом идёт другая группа, которой дано задание обнаружить их. Вот почему они не ставили палатку, не разводили костра...

Зато вернулись необнаруженными, непобеждёнными. Грязные, голодные, довольные собой, они входили в штаб, где вся организация встречала их как героев. «Ну а теперь другое задание, – услышали Рыжов и его команда.– Засесть за учебники. Если прошли через такие испытания, то неужели с учёбой не справитесь?»

Справились. Просто неловко, стыдно было не справиться.

* * *

– Воспитание это не кружки и секции. Воспитание – это создание возможностей для поступков, для проявления лучших качеств в каких-то действиях, – доказывал я проверяющим.

Сначала они не соглашались. И я догадывался, откуда у них это внутреннее сопротивление. Наверное, они мысленно ставили себя на моё место и чувствовали себя не в своей тарелке.

Я понимал: это, конечно, не просто. Идти с пацанами в одной пешей колонне на виду у всего города. Петь с ними походные песни. Есть из одного котелка. Спать в одной палатке. Говорить не по бумажке. А главное: фантазировать, делать то, чего ещё никто не делал, и то, что никто не утвердил, рисковать, рисковать, рисковать.

Мы открыто объявили о себе в местной газете. И это само по себе было неслыханным вызовом, на который нельзя было не отреагировать. Тем более, что поступали сигналы.

Родители сообщали учителям, что на сборах, которые в этой странной организации длятся часами, ребята обсуждают методы родительского и школьного воспитания, критикуют комсомол и, что самое возмутительное, некоторые порядки, существующие в нашем обществе.

У учителей были свои поводы для недовольства. «Трудные» ребята, которые почему-то первыми пошли в организацию, стали чаще сбегать с уроков, совсем безобразно учиться. Ещё хуже было то, что в организацию потянулись школьные активисты. «Мы их годами выращивали, а их взяли и переманили!»

Но особенное возмущение вызвали наши сборы. Так мы называли свои собрания. Кто-то из инструкторов горкома или обкома комсомола (точно уже не помню) однажды поприсутствовал и потом с ужасом докладывал: «Ходом собрания руководит какой-то десятиклассник. Перескакивают с одной темы на другую. Орут, спорят. Обсуждают поведение друг друга. И не только... В сущности, Ерёмин разрешает им говорить о чём угодно».

Это точно. Вначале я следил только за тем, чтобы с языка не слетали матюги. И чтобы высказывались те, кто прежде, на улице, боязливо молчал. Пока этого было достаточно: развития речи без мата и развития демократии организации в противовес «демократии» уличной.

Это правда, сбором обычно руководил кто-то из старшеклассников, умеющий вести, собственно, не собрание (на это много ума и умения не надо), а собрание-дискуссию по злободневным темам.

Если, скажем, собрались обсудить поведение Лёши Огуренко, одного из моих заместителей, добивавшегося подчинения зуботычинами, то разговор переходил в категорическое осуждение уличного насилия над личностью вообще.

Если ребята спрашивали, когда же, наконец, мы получим хоть какие-то средства, то, признаю, я не уклонялся от прямого объяснения, прямо говорил, что у нас в обществе немало взрослых, которые стараются сделать так, чтобы необходимое людям решение было принято вышестоящим начальством, тогда как вполне могут принять

его сами. И вам, молодым, нужно учиться быть другими людьми. Не такими, из-за которых мы по существу нашли помещение сами и проводим сборы, сидя на чём попало и прямо на полу.

Я не уклонялся от обсуждения того, что мешало нам нормально существовать, на том основании, что это непедагогично – втягивать детей в осуждение действий взрослых. Напротив, я считал непедагогичным молчать. Напротив, вёл разговоры на подобные темы так, чтобы ребята испытывали возмущение. Воспитанные в атмосфере категорического осуждения чьих-то никуда не годных действий, они в большей степени подготавливались к тому, чтобы, став взрослыми, самим не допускать таких действий.

Я резко отчитывал Лёшу Огуренко (симпатичного, умного парня, но явно развращённого своим физическим превосходством и уличным суперменством) за его рукоприкладство, хотя он был очень полезным организации. Зная его самолюбие и взрывной характер, я сознательно рисковал его потерять, когда «бил» его словами возмущения, стараясь вызвать у ребят отвращение к малейшему оскорблению достоинства друг друга, вызывая у них стремление к настоящему, а не уличному товариществу. И через год добился своего. На протяжении последующих семи лет случаи рукоприкладства или даже словесных оскорблений можно было пересчитать на пальцах.

Поминутная расписанность собрания, распределение, кто какую тему должен затронуть, – этого у нас не было не только потому, что я лично этого не терпел. А потому, что так получалось, Ребята вели себя на сборе так же свободно, как на своих уличных толковищах.

Моей задачей было сохранить за ними эту раскованность и свободу речи, но в то же время тактично управлять их сознанием, помогать менять суждения, оценки, понятия.

Они разбирали в школе образы литературных героев, но совершенно не умели обсуждать себя, свои действия и поступки с позиций нормальной (не крикливо-возвышенной) человеческой нравственности. В них вырабатывалась духовность, обращённая на какие угодно абстракции, только не на самих себя. В любую минуту они могли – подобно роботам – выдать штампованные ответы на вопросы о том, что собой представляет какой-нибудь

отрицательный персонаж. И через полчаса смаковать в своём кругу чьи-то грязные выходки. С этой раздвоенностью нужно было что-то делать. Убеждения не помогали – я это видел. Двуличие нужно было буквально вытравливать. Но чем? Как?

Только прямым и честным объяснением, в каком времени живём и под чьим руководством, какие процессы происходят в обществе и как дожили мы до такой жизни. Объяснением того, какую позицию нужно занять, чтобы сохранить порядочность и цельность.

«Непедагогично!»

Из всех обвинений это было самым ранящим, заставляющим колебаться, сомневаться в своей правоте. Но были на моей стороне педагоги, с которыми я постоянно сверял свою работу и которым следовал, несмотря ни на что. Ушинский, Добролюбов, Корчак.

«Лучше не говорить ребёнку той или другой высокой истины, которой не выносит окружающая его жизнь, чем приучать его видеть в этой истине фразу, годную только для урока», – советовал К. Д. Ушинский.

«Боже мой! – продолжал он. – Да если заглянуть поглубже в наши школы, вслушаться внимательно в наши уроки, то может быть мы увидим, что всё это не что иное, как репетиция театрального представления. По большей части между наставником и воспитанником нет и признаков духовной связи. Наставник обманывает дитя, говоря ему то, чего сам не думает и не чувствует; дитя обманывает наставника, подделываясь под его тон и его чувства».

К. Д. Ушинский подвёл меня к мысли, что духовная связь образуется только тогда, когда воспитатель солидаризируется с подростками в их критическом отношении к действительно негативным явлениям.

«Истина не может быть вредна: это одно из самых святых убеждений человека, и воспитатель, в котором поколебалось это убеждение, должен оставить дело воспитания, – он его недостоин... Пусть воспитатель заботится только о том, чтобы не давать детям ничего, кроме истины... Пусть воспитатель, соблюдая только закон своевременности, смело вводит воспитанника в действительные факты, жизни...» (Выделено мною. – Авт.)

Н. А. Добролюбов подсказал мне точную характеристику тех, кто бросал в лицо: «Непедагогично!»

«Один раз дошедши до убеждения в неправоте своего учителя, ученик уже не останавливается... Нравственное чувство в нём не развито, ум не приучен к спокойному,

медленному обсуживанию своих действий; всё, что он знает и чему верит, вбито ему в голову насильно, без всякого участия его собственной воли и чувства. В ожесточении против угнетавших его он развивает в себе дух противоречия и становится противником уже не злоупотреблений только, а самых начал, принятых в обществе...»

И передо мной, и перед любым другим педагогом тех лет стояла простая и строгая дилемма. Или мы воспитываем здоровый критицизм на позитивной основе. Или подростки, действительно, станут слепыми противниками нашей социальной системы.

Середины не было. Нужно было выбирать какую-то одну позицию.

В трудную минуту я вспоминал прекрасные слова Януша Корчака, добровольно разделившего смерть в крематории со своими воспитанниками и тем самым написавшего себе безупречную характеристику: «Мы, – писал Корчак, – обязаны учить ребёнка не только любить правду, но и распознавать ложь, не только любить, но и ненавидеть, не только уважать, но и презирать, не только соглашаться, но и возмущаться, не только подчиняться, но и бунтовать».

«Мы обязаны!» – подчеркнул Я. Корчак.

У меня было такое же чувство: я обязан!

* * *

До вступления в организацию подростки часто сбежали со школьных собраний. А теперь родители и учителя ничего не могли понять. Дети пропадали на сборах часами. Готовятся к ним, отглаживая свои голубые форменки. Часами обсуждают в своём кругу то, о чём говорилось на сборе. С нетерпением ждали нового. Многие подходили и спрашивали: когда? Сборы можно было сравнить с приёмом духовной пищи. Новая пища подавалась, как только в коллективе начинал ощущаться голод.

Такое отношение к сборам вызывало расспросы. И, приученные к открытости, ребята отвечали, ничего не скрывая. Некоторые родители звонили мне, советовали быть осторожней. Но находились и такие, кто шли в школы, жаловались учителям. Но ребята и от учителей ничего не скрывали...

– Вас нельзя подпускать к детям на пушечный выстрел! – кричала мне в трубку одна директриса.

А другая тихонько села и красивым учительским почерком написала донос. На меня и на свою ученицу.

Мне бы возмущаться и кричать, что дело воспитания, если к нему относиться до конца честно, это сплошная политика. И почему мне, педагогическому самоучке, приходится делать то, что не делаете вы, профессионалы: открывать детям глаза на прошлое и происходящее вокруг, готовить их к борьбе за наши истинные ценности, а не способствовать их уходу в патологию обывательской жизни?..

Вначале я думал, что уважаемые педагоги не переносят только меня. Потом узнал: так относились ко всем, кто шёл в те годы во дворы. И уяснил, что думают о нас профессионалы. Инфантильные субъекты без педагогического образования, примитивные эмпирики. Демагоги, злостно не соблюдающие педагогическую дистанцию, стремящиеся стать кумирами. Честолюбцы, возомнившие себя педагогическими мессиями, способными справиться с теми, на кого безнадежно махнули рукой они, профессионалы.

О подростковых объединениях судили по их внешней стороне. Форма, строй – значит, военка. И мало кто догадывался, какую школу духовности, демократии, самоуправления проходили ребята в таких коллективах, за глаза называемых казармами.

Мало кому приходило в голову, что работа с подростками по месту жительства – в рамках подобных объединений – это только нарождающаяся отрасль педагогики, которой не обучают ни в одном педвузе, в которой все плавают одинаково. Но шансов выплыть больше всё же у тех, кто не побывал под штампом школьной системы воспитания.

И едва ли кто предвидел, что спустя двадцать лет школа придёт по существу к тому, к чему эмпирически пришли эти дилетанты – ребячьи коммиссары 60-х – к более простым и демократичным отношениям с воспитанниками, педагогике сотрудничества.

Впрочем, не будем приbedняться. Мы тоже как бы сверху вниз смотрели на учителей, неспособных понять, почему активисты, которых они действительно пестовали годами, вдруг слагали с себя общественные должности и переходили к нам рядовыми.

А ведь то был первый сигнал, значение которого стало до конца ясно только спустя 15–20 лет, когда заурядным явлением стали активисты-двойники, одинаково хладнокровно чувствовавшие

себя своими и на комсомольских собраниях, и на уличном дне.

Да, нам нужны были активные положительные ребята. Ибо в подростковом возрасте пример сверстника значит порой больше, чем пример воспитателя. Но для заправки здорового коллектива вполне хватило бы 5–6 школьных активистов. А к нам шли десятки.

– Ты переманиваешь! – обвиняли меня.

– Чем?! Ведь кроме пустого подвала у нас ничего нет!

– А чёрт тебя знает, чем, – отвечали мне. – Но то, что переманиваешь, это точно!

Какое-то время я возмущался напраслине. А потом успокоился. Понял, что «Гринабель» и вправду переманивает, хотя не ставит перед собой такой низкой цели. А значит, мы на верном пути, если у нас сходятся и одинаково свободно находят выход своей активности двоечники и отличники, пассив и актив, разделённые в школе чуть ли не понятием разноростности. И стал отвечать всем недовольным:

– А вы переманите их обратно. Ведь к вам они больше привязаны.

На другом конце провода бросали трубку. И я знал: теперь будут звонить не мне, а в горком комсомола. А горком почти наверняка прикажет: прекратить приём активистов! Принимать только «трудных»! Как будто у них на лбу написано, кто они.

Горком приказывал, я выслушивал и делал по-своему. Спасал всех, кто искал спасения. Одних – от уличного цинизма. Других – от учительского лицемерия и театральщины общественной работы.

О том, для кого организация создана, я и сам не забывал. Но «трудным» не грозило сокращение мест в нашем подвале. Ведь к нам шли не все активисты, а только те, кому было совсем невмоготу.

* * *

Мы не были первыми. Уже шагал по улицам Тулы отряд «Искатель» во главе со своим командиром – редактором молодёжной газеты Евгением Волковым. Но о подростковых объединениях в Павлодаре знали только те, кому это было интересно. Для остальных «Гринабель» был чем-то неслышанно новым, ни на что не похожим. И мы на себе испытали, что такое быть белой вороной.

Увидев ребят в военного покроя и форменках, обыватель

не выбирал выражений: «Хунвейбины! Гитлерюгенд!» Парни белели от злости, но держали себя в руках. Они знали, что самые опасные стрелы летят с другой стороны.

В феврале 1967 года на II пленуме ЦК ВЛКСМ первый секретарь Сергей Павлов сказал: «Кое-где комсомольские работники дают загипнотизировать себя звонкими названиями, замысловатой формой и атрибутикой. Мы не можем согласиться и не соглашаемся с тем, когда выхолащивается идейная суть, когда те или иные объединения ребят не только выходят из рамок пионерской организации и комсомола, но даже по существу противопоставляются им».

Под «кое-где» подразумевалось в Павлодаре.

«Комсомольскими работниками» были Сергей Литвиненко и Виктор Статинов.

Под «теми или иными объединениями» имелся, в виду «Гринабель».

На пленуме произошло невероятное. Литвиненко попросил две минуты и позволил себе не согласиться с экивоком первого секретаря. Зал слушал затаив дыхание. А когда в президиуме велели заканчивать; делегаты потребовали: «Пусть продолжает!»

Учтём, что выступление длилось считанные минуты. Литвиненко не мог объяснить всего. Но он успел сказать главное. В создании объединения участвует не только работник горкома комсомола Ерёмин, но и – что самое важное – сами подростки. С присущей им тягой к оригинальности подростки могут где-то хватить через край. Ну так что же? Сразу подозревать худшее и навешивать ярлыки? А может быть, набраться терпения? Жизнь строже любого, самого сурового разноса. Сама укажет, что в модели организаций вычурное и лишнее. Да и инициаторы рано или поздно поостынут. И сами сделают то, что сегодня их заставляют сделать.

* * *

...Как назвать организацию? Какую избрать систему управления? Какую структуру? Какую героику и символику? Десятки головоломных вопросов. Мучительное: и сладкое занятие – создание модели организации. И просто грех заниматься этим в одиночку. Ещё в феврале 1966 года я собрал группу вполне положительных старшеклассников. И отдал им на суд свои предложения.

Какой должна быть система управления? Я был убеждён,

что ребята должны прежде всего учиться демократии. Только демократии настоящей, реальной, выражающейся в предоставлении ребятам больших и реальных прав. И чтобы не было никакой демагогии, предложил дать пацанам самое большое право – избирать руководителя организации прямым и тайным голосованием.

Старшеклассники сказали:

– Знаешь, что может произойти. Как только пацанам что-нибудь в тебе не понравится, они возьмут и выберут другого.

– Вот и прекрасно, – сказал я им. – Я должен бояться, как бы меня не переизбрали. Я должен чувствовать свою зависимость от пацанов. А если я не боюсь, значит, демократия только на словах.

На первый взгляд это действительно скользкая штука – власть пацанов над тем, кто поставлен их воспитывать. Кто-то из них может этой властью и злоупотребить.

А ощущение, что нас не туда ведут и мы ничего не можем изменить – лучше?

Нет, подростки будут чувствовать себя настоящими хозяевами своей организации только тогда, когда они будут иметь закреплённое уставом право избирать своего руководителя.

Но ты не просто руководитель юношеской организации, говорили мне. Прежде всего ты воспитатель. А где это видано, чтобы подростки избирали воспитателя?

Этот с виду крепкий довод легко опровергался. Воспитание – процесс психологический. В нём действуют разные тонкости. Да, я отдаю себя во власть ребячьего мнения. Но тем самым я перестаю быть в глазах ребят ставленником горкома и становлюсь их становленником. То есть приближаюсь к ним.

А чем я ближе, чем больше становлюсь «своим», тем весомее моё слово, тем меньше сопротивление моим требованиям.

– Но тебя могут не понять в горкоме комсомола, предупреждали меня.

– Те, для кого воспитание подростков важнее амбиций, поймут. А те, кто не поймёт, кто будет мешать, кто попытается убраться... Выборность и будет лучшей защитой. Ребята просто не выберут другого.

Старшеклассники развили идею. Они предложили назвать организацию республикой, а руководителя – президентом. Потом согласились, что такое название годится разве что для внутреннего употребления.

Кто-то предложил назваться без затей – просто клубом. Но все зама- хали руками: «Старо!» Всем хотелось новизны, необычности.

Так ничего и не решили. И стали обсуждать, какое дать организации имя.

Я прочёл в югославском еженедельнике «Свет» интервью с писателем В. Кожевниковым. Там говорилось, что прототипом героя романа «Щит и меч» стал советский разведчик Рудольф Абель.

Советский разведчик, работающий за рубежом в мирное время?! Об этом наша пресса ещё не писала.

Потом в газете «Морнинг стар» попалась выдержка из книги западного публициста Санжа де Грамона: «Абель – редкий тип личности. Будучи ода- рённым художником, умелым музыкантом, превосходным фотографом, он также является законченным лингвистом – знает пять языков, одарённым математиком, физиком и химиком. Шеф ЦРУ Даллес сказал об Абеле: «Я хотел бы иметь парочку таких, как он, в Москве».

Вскоре об Абеле рассказала наша «Неделя». Для работы в органах го- сударственной безопасности его рекомендовал комсомол. В годы войны Абель передавал из Германии важнейшую разведывательную информа- цию. После войны в течение многих лет вёл за рубежом работу, требующую колоссального нервного напряжения. Был арестован в результате гнусного предательства. Агенты ФБР предложили ему «сотрудничество или арест с перспективой смертной казни». Абель отклонил предложение изменить Ро- дине. Он был приговорён к 30 годам каторжной тюрьмы. И – досрочно ос- вобождён. Его обменяли на американского лётчика-шпиона.

Личность Абеля, как принято говорить, завладела воображением ре- бят. Это был герой, который тяжестью выпавших на его долю испытаний, верностью долгу вызывал самое неподдельное восхищение. И это был ге- рой сегодняшнего дня...

В 60-х годах подростки зачитывались романами и рассказами писате- ля, чьё имя долгие годы замалчивалось, – Александра Грина.

«Вся жизнь Грина, как нарочно, сложилась так, чтобы сделать из него преступника и злодея. У него рано

умерла мать. Дома мальчика постоянно били. Из реального училища Грина исключили за невинные стихи о классном наставнике». Потом были долгие годы лишения, бездомности, голода, тяжкого труда, непризнания его литературного таланта. Грин выжил, но недоверие к действительности осталось у него на всю жизнь. Грин искренне радовался революции, но светлое будущее казалось ему очень далёким. У него было почти детское нетерпение, желание сейчас же увидеть конечный результат великих событий. Сознание того, что до этого ещё далеко, что перестройка жизни – дело длительное, всё это вызывало у Грина досаду. И он создал в своих книгах мир весёлых и смелых людей и удивительные события, кружащие голову, как глоток вина. Рассказы Грина вызывают в людях желание разнообразной жизни, полной риска, смелости и «чувства высокого».

Так писал о Грине К. Паустовский.

Наш художник Слава Измайлов предложил эскиз эмблемы организаций. На фоне щита и меча (эмблема чекистов)– гриновская бригантина с алыми парусами.

Потом я спрашивал ребят, кто первым соединил фамилии Грина и Абея. Никто не хотел признаваться. Наверное, это произошло непроизвольно, когда Слава Измайлов соединил на своём рисунке две эмблемы.

* * *

Итак, мы назвались «Гринабелем». Звучало немного по-иностранному, звучало звонко и, может быть, действительно замысловато. Зато налицо была героика организации, не чуждая даже тем пацанам, которые не хотели восторгаться никакими героями. Зато нравилось самим ребятам.

Мы не могли даже предположить, что кто-то увидит в названии то, что подскажет элементарное невежество. «Члены «Гринабеля» бредят романтикой капитана Грина». Воистину бред! Грин никогда не был капитаном.

Об эмблеме было сказано в справке ещё хлеще: эмблема «Гринабеля» – щит и меч, призывающий к насилию.

Впрочем, тем, кто разглядывал в лупу наше «идеологическое лицо», не нравилось всё, что было придумано самими ребятами.

Возражения вызвал девиз: «Вперёд – через невозможное!» «Что вы нашли невозможного в нашей советской жизни?» – спрашивали у ребят дяди-проверяющие. Ответы были в тон, такие же ехидные. «Ну что ж, друтого воспитания мы и не ожидали», – вздыхали проверяющие.

Не понравилась фурнитура. «К чему эти кокарды на пилотках? Эти шевроны?» Спустя примерно 10 лет кокарды и шевроны станут обычной частью пионерской парадной формы.

Возражения вызвала не только фурнитура к форме, но и сама форма. В те годы по городам Китая маршировали хунвейбины... t

Радоваться бы, что пацаны соглашались носить единую форму одежды и даже были от неё в восторге. Попробуйте одеть в одинаковое нынешних подростков. Теперь им «фирму» подавай.

Мы откровенно не подчинились. И форму оставили, и кокарды. А скоро у каждого активного члена «Гринабеля» было четыре комплекта формы: повседневная, летняя, парадная и та, которую одевали на трудовые операции и в походы. Средства на пошив ребята зарабатывали своим трудом.

Ребята помогали создавать не только модель организации. Я выписал им в горкоме удостоверения. И они пошли по разным организациям, которые могли нам помочь. В радиоклуб – рациями. В комитет ДОСААФ – за малокалиберными винтовками. В военкомат – за взрывпакетами для военных игр. В спортивные организации – за инвентарём.

Нам давали всё, что просили ребята. Наверное, всем было ясно, что организация, которую поднимают на ноги сами подростки, не может быть лишней и тем более вредной. В ЦК ЛКСМ Казахстана считали иначе. В справке, написанной проверяющим, говорилось, что городские организации допускают политическую беспечность, помогая «Гринабелю». Почему? Потому что «Гринабель» ставит перед собой цель «создать мощную разветвлённую организацию в противовес комсомолу».

Ну а это обвинение с какого потолка взялось?

Если вы дали подросткам возможность проявлять активность, не надо удивляться, что эта активность начинает проявляться во всём. Недаром в 60-х годах в лексиконе подростков появилась такая фраза: нам до всего есть дело. Кого-то эта фраза раздражала. Кто-то не хотел понимать, что в ней сконцентрировалась та самая активная позиция, занять которую призывали со всех комсомольских трибун.

Приехала из Москвы группа социологов ЦК ВЛКСМ – ребята помогали проводить анкетирование.

Переживала трудности молодёжная студия при местном драмтеатре – ребята собрали зрителей и сами явились на просмотр постановки всей организацией.

Понадобился аптекоуправлению сушёный шиповник. Тут же организовали поход за город, вернулись с полными рюкзаками, сдали безвозмездно 150 килограммов.

На тракторном заводе некому было перескладировать детали – не стали ждать, когда у кого-то созреет мысль позвать на помощь «Гринабель», пришли сами.

Такое вмешательство в окружающую жизнь устраивало всех. А подростки входили во вкус. Устроили рейд по дворовым клубам. Начали выяснять, какие клубы открыты в вечерние часы, какие педагоги-организаторы работают с подростками. А какие даже на порог не пускают тех, кому больше 14.

Но и это бы ничего. Только члены «Гринабеля» пошли дальше. Стали предлагать, чтобы подростковым группам, что отираются возле дворовых клубов, доверили ключи. И чтобы эти группы стали филиалам «Гринабеля».

Мы хотели вобрать в «Гринабель» всех уличных. На учёте в милиции стояло в ту пору около 500 подростков. Одна эта цифра говорит о масштабе замысла. Мы хотели, чтобы и уличным тоже до всего было дело. И чтобы в этом повороте интересов всё уличное у уличных отодвинулось и ушло.

Мы узнавали, где собирается шпана, и шли туда, во дворы, на танцплощадки, в тёмные скверы. Нас встречали почти враждебно. Но мы предлагали мирный разговор. И спустя час уже сидели где-нибудь и говорили, как лучше жить дальше. А на другой день пацаны приводили с ответным визитом. Смотрели, как мы живём. И загорались идеей жить так же. Тут же, при нас, избирали главу филиала, получали брошюру с нашим уставом, обещая соблюдать его от первой до последней буквы. Пока это были, конечно, только слова, порыв души, благие намерения. Но ведь главное – начало. Главное – переключение с улицы на её альтернативу – «Гринабель».

К нам ехали группами со всех уголков города. И мы говорили пацанам: если до вас никому нет дела, значит, спасение утопающих – дело рук самих утопающих. Собирайте тех, кто хочет быть с нами. Находите работу и зарабатывайте себе на форму. Находите пустующий подвал,

договаривайтесь с управдомом и превращайте помещение в штаб-квартиру своего филиала.

На что мы рассчитывали? На то, что уличная группа, которая стала работать, уже не та, что была вчера, когда ещё не работала. И ещё более другой она станет, когда наденет форменки с нашими эмблемами.

Уличная группа, которая оборудует себе помещение, уже не та, что была всегда. Потому что она боится это помещение потерять. Во что ты вложил свои силы, свой труд, то твоё.

Мы рассчитывали на то, что улица тоже хочет жить по-человечески. Везде и во всём участвовать. А не наблюдать со стороны, как активничают другие. Мы были уверены, что у улицы ещё есть запасы хорошей энергии, надо только запрячь эту энергию в полезное дело. Сделать членство в «Гринабеле» каждодневным делом. А для этого придумывать новые и новые задания. Только ничего заранее не расписывать...

Мы исходили из того, что с уличным коллективом надо научиться работать точно так же, как с любым другим первичным коллективом, пионерским или комсомольским. Ибо этот коллектив не виноват, что выпал в осадок, образовался из педагогических отходов семьи и школы. И он не виноват, что его считают не способным ни на что стоящее.

Таким был наш подход к улице. Наш взгляд на структуру «Гринабеля». Наше представление о том, как работать завтра и, может быть, всегда. И – скажу это не в порядке самооправдания, его никто не требует, а в порядке установления истины – мы даже не помышляли о каком-то противопоставлении себя комсомолу. Смешно даже предположить такое. Видно, не всё ладно было с чувством юмора у тех, кто изобрёл это обвинение.

А может быть, нехватка чувства юмора здесь вовсе ни при чём. Ведь приписали же даже свастику!

Ребята однажды сказали: почему все военные игры только на суше? Может, устроим «морской бой»? Как раз случай представился. Поехали в лагерь на озеро Джасыбай. Решили, что с одной стороны будут «благородные мореплаватели», а с другой «пираты». Для живописности сделали игру костюмированной. Пошили, в частности, пиратский флаг. На чёрном полотнище череп и две скрещённые берцовые косточки.

Этот флибустьерский знак, знакомый каждому читающему пацану, и

был назван свастикой, имеющей, как известно, совсем другое изображение.

«Комсомольская правда» писала: «Знали понаслышке в ЦК ЛКСМ Казахстана, что в Павлодаре создан подростковый отряд «Гринабель», но не удосужились вплотную поинтересоваться его судьбой. А чуть всплыли какие-то огрехи, так было забыто и отброшено, как ненужный хлам, всё доброе и ценное, что сделал отряд, был раздавлен сам опыт общественной инициативы «снизу». И получает выговор В. Статинов, секретарь Павлодарского горкома. И обвиняется в «грубых ошибках и извращениях» и в «политической близорукости». Станет ли он теперь экспериментировать?»

Автор этих строк журналист И. Клямкин имел откровенный разговор со Статиновым и Литвиненко. Он знал, что оба вскоре уйдут со своих должностей «по собственному желанию».

* * *

Потом меня спрашивали: «Как вам-то удалось уцелеть?» Довольно просто. Заменили девиз. «Гринабель» стал «Молодой гвардией». Отказались от мысли создать филиалы.

Мне «предлагали» упразднить выборность руководителя. На это я огласиться не мог. Система управления была одновременно важнейшим элементом системы воспитания.

Некоторые подростки и близкие к «Гринабелю» взрослые считали меня капитулянтом. Я не обижался, считая, что самое главное – сохранить «лабораторию», где была бы возможность вырабатывать опыт работы с подростками.

За «Гринабелем» теперь присматривал второй секретарь горкома Николай Пигарев. Он требовал, чтобы я ежедневно являлся к нему в кабинет и «докладывал обстановку». Он подолгу изучал списки членов штаба и организации, жевал губами, вздыхал. И задавал одни и те же вопросы: почему так много «трудных» и почему так мало комсомольцев?

Я объяснял, что такова специфика «контингента». Не вступают личные в комсомол. Не знаю, чья тут вина. Но, наверное, не наша.

В штабе, действительно, немало бывшей шпаны. Но что в этом такого? По уставу каждая группа предлагает в штаб своего вожака. И почему я должен быть против этого? Если пацаны кого-то выдвигают, значит, уважают. И, значит, я должен иметь дело с теми, кто в авторитете у ребят. А не с теми, у кого лучше анкета.

- Нужно внести изменения в устав, – говорил Пигарев.
- Сбор на это не пойдёт.
- А ты подведи его к этому.
- Может, тебе самому это сделать?

Проводить сбор Пигарев отказался, но прийти в «Гринабель» пообещал. Он просто не мог не прийти. Ещё был свеж в памяти II пленум ЦК ВЛКСМ, на котором Сергей Павлов сказал: «Двор, улица оказывают огромное воздействие на формирование ребячьих характеров. Сегодня следовало бы обстоятельно поговорить о том, что может сделать комсомол для лучшей организации свободного времени ребят. Получается очень часто так, что, провозглашая слова о важности работы по месту жительства, комсомольские и пионерские работники и активисты сами там не появляются».

После визита Пигарева мне пришла в голову мысль, что пригодность человека к работе с молодёжью неплохо бы определять тестами. Скажем, предложить кандидату вступить в контакт с уличной группой. Сумеет наладить непринуждённый разговор, завоевать расположение уличных – можно выдвигать.

* * *

Пигареву было проще. Он пришёл к бывшим уличным. Надо было показать, что он умеет разговаривать с подростками. Но всегда важны первые слова. Потом я долго ломал голову: неужели он продумал эту фразу заранее?

– Ну и кто тут среди вас «трудные»? – натянуто улыбаясь, спросил Пигарев.

Ребята переглянулись. Они ожидали услышать что угодно, только не это.

– Мы все тут «трудные», – сказал кто-то сквозь зубы.

– Вообще-то задавать такие вопросы непедагогично, – мягко произнёс десятиклассник Слава Измайлов.

На этом общение секретаря с несоюзной молодёжью окончилось. Чтобы благополучно выйти из положения, Пигарев сделал вид, что его внимание привлекла стенная газета. А может быть, она в самом деле бросилась ему в глаза. Называлась она с юмором и подтекстом – «Дети подземелья». В одном из разделов газеты красовался шарж.

Слава Измайлов изобразил меня смешно и безо всякой почтительности.

– Что ты тут позволяешь?! – задохнулся Пигарев.

Самые бойкие пацаны шли за ним по пятам. Улучили момент и спросили, когда организации дадут бюджет.

– Ничего не могу обещать, – Пигарев сказал эти слова таким тоном, словно вынимал из кармана миллион.

Потом ребята заполнили актовый зал. Председатель сбора – это был всё тот же Слава Измайлов – занял своё место за маленьким столиком. Привыкший к президиумам, Пигарев сел рядом со мной среди ребят. Я шепнул ему, что во время сборов у нас все равны. Пигарев подумал, что я извиняюсь, и благосклонно кивнул.

Прежде всего сбор решил обсудить поведение Виктора Бортвина и Олега Лещенко. Им доверили маленькое помещение кинобудки. И они превратили его в распивочную. А когда Слава Измайлов сделал им замечание, Лещенко бросился на него с кулаками.

Каждый факт выпивки и рукоприкладства отбрасывал нас назад. Уличные манеры поведения могли постепенно внедриться в жизнь «Гринабеля» и стать такими же обычными, как на улице. Эта была одна опасность. Но была и другая. Разговоры о выпивках и драках доходили до родителей и учителей. И нас судили очень просто. Если подростки ведут себя в «Гринабеле» так же разболтанно, как на улице, значит, никуда не годится сама идея объединения уличных в подростковой организации.

Нас мог спасти только «сухой закон». Я несколько раз вносил это предложение. Но большинство голосов было против.

– Что ты играешь в бирюльки? – возмутился Пигарев. – Запрети выпивки приказом, и дело с концом.

С точки зрения ребят это было бы незаконно. Тем самым педагогическим произволом, которого они натерпелись дома и в школе. Это означало в самом зародыше убить ребячью демократию, которая была не только формой управления, но в ещё большей степени – духовностью организации. Переживание своих прав возвышало ребят, развивало у них чувство достоинства, без которого настоящее воспитание просто невыносимо. Если мы провозгласили самоуправление, то нужно было идти до конца, может быть, до серьёзного кризиса, до тех пор, пока сами наши выпивохи и хулиганы не поймут, что своим поведением они угрожают самому существованию организации, пока не вызовут

этим всеобщее возмущение ребят, пока сами не захотят бороться с собой.

Нам нужен был такой «сухой закон», который бы выполнялся добровольно, а не под угрозой отчисления. Который не вызвал бы уход из «Гринабеля». Нужно было решение, которое бы просто выполнялось, а не оставалось только на бумаге. Иначе подростки потеряли бы уважение к решениям, принимаемым на сборах, к самому сбору как высшему органу «Гринабеля» и, может быть, ко всей организации в целом. А когда нет уважения к организации, в которой протекает воспитание, говорить о воспитании просто смешно.

После споров с Пигаревым я возвращался в «Гринабель», заставлял там парней с мутными глазами и пьяными улыбками. Говорил с ними часами. Давил на сознательность.

– Неужели не понимаете, что из-за вас «Гринабель» могут закрыть?

Понимали. Но спьяну задавали один и тот же вопрос: «Ты что предлагаешь? Вообще не пить? Или не приходиться в «Гринабель» пьяными?»

Право, я не знал, что ответить этим парням, привыкшим к спиртному с 12–13 лет.

Однажды они сказали: «Ладно, завяжем с выпивонами. Ну а ты-то сам? Будешь соблюдать?» И мне захотелось ударить себя в лоб. Как же я раньше не догадался, что нужно и в этом уравнивать себя с пацанами.

– Да, я буду соблюдать «сухой закон» вместе с вами. И его будет соблюдать любой взрослый, который с нами сотрудничает.

Снова созвали общий сбор. Посчитали голоса. «За» было подавляющее, большинство. И решение стало выполняться.

А горком в это время нашёл для «Гринабеля» комиссара. Это был Марат Диннерштейн, преподаватель физвоспитания, как мне сказали, очень тонкий педагог.

Но на ближайшее заседание штаба «тонкий педагог» пришёл с чьих-то именин.

– А почему Марат Григорьевич пришёл пьяный? – сказал Толя Сердюков. – Он что, не уважает наши законы?

В горкоме мне сказали, что об уходе Диннерштейна не может быть и речи: «Это ж комиссар!»

– О том, что он комиссар, он должен был подумать, когда входил пьяный к ребятам.

Меня не хотели слушать. Всё шло к тому, что лучше уйти мне. Но тут сам Диннерштейн признал, что после случившегося ему, действительно, трудно будет стать в глазах ребят настоящим комиссаром. Он уволился. А мне ещё долго выговаривали: «Вот она, твоя демократия! До чего довела! Какого педагога потеряли!»

У меня эти нарекания вызвали немало сомнений. Может, в самом деле надо было уговорить ребят, что для такого ценного работника, как Диннерштейн, можно сделать исключение? То была, как я теперь понимаю, элементарная педагогическая невыдержанность.

Нет, в работе с подростками не может быть никаких поведенческих привилегий. Никакого зазора между словом и делом. Никакой, как теперь говорят, двойной морали. Ибо подростки, в особенности уличные, – самая максималистская, самая импульсивная часть молодёжи.

* * *

Каждые два года приходил новый второй секретарь горкома. За восемь лет работы их было четверо. До сих пор поражаюсь, как же были они похожи. И прежде всего своим отношением к «Гринабелю». То ли это передавалось «по наследству», то ли сказывалась какая-то психологическая закономерность – не буду ни гадать, ни утверждать. Одно мне было ясно и ясно до сих пор: «Гринабель» не был и не мог быть нашим общим делом, как того требовали интересы воспитания подростков.

Для становления «Гринабелю» нужны были средства. А горком комсомола сам был беден. Сам зависел от того, сколько перечисляли на его счёт наиболее крупные комсомольские организации города. Привык брать, а не помогать. Он отчитывался работой, которую проводил с подростками «Гринабель», но по сложившейся привычке сам в этой работе старался не участвовать. И потому «Гринабель» воспринимался как тягостная обуза.

А это уже нам не нравилось: коли вы шефы, извольте помогать материально, предоставьте помещение, дайте бюджет, помогите с инструкторами и руководителями кружков и т. д. Не способны быть шефами – скажите прямо. Поищем других или будет рассчитывать только на себя.

У нас был компактный коллектив, который при правильной

организации способен был доводить решение общих задач воспитания молодёжи до конца. Если самоуправление, то не игрушечное, а настоящее. Если демократия, то с тайным голосованием, чистыми бюллетенями и даже подчинением взрослого подросткам. Если активная жизненная позиция, то не на словах, а на деле.

Постоянно сверяя свою работу с системой Макаренко, мы хорошо усвоили его предостережение: «Словесное воспитание без сопровождающей гимнастики поведения есть самое преступное вредительство». И старались создавать для ребят такие формы коллективной жизни, такие условия и обстоятельства, которые служили бы тренажёрами для этой самой гимнастики.

Но в комсомоле-то действовали другие, в основном именно словесные формы воспитания. И это не могло не проявляться в результатах. В иные месяцы «Гринабель» сдавал больше металлолома, чем все школы 300-тысячного города, вместе взятые. Команда туристов чуть ли не каждый сезон была первой на традиционных слётах юных туристов-краеведов. Школьный отряд – победитель игры «Орлёнок» пригласил «Гринабель» померяться силами и был разбит за 20 минут.

Я привожу эти примеры не для хвастовства, вовсе не считая подобные успехи какой-то своей заслугой. Это успехи прежде всего самих ребят. Я привожу эти примеры, чтобы объяснить главное. Почему в горкоме комсомола никогда этим успехам не радовались. Почему они всегда раздражали.

Потому, на мой взгляд, что «Гринабель», самовольно назвавшийся организацией, разработавший свои формы внутриколлективной жизни и участия в жизни города, свою модель и героику, свой подход к воспитанию подростка, на деле доказал, что он тоже способен воспитывать героические характеры, активных граждан и преданных патриотов. Причём доказал это, существуя в режиме борьбы за выживание, в обстановке непрерывных гонений и навешивания ярлыков, вопреки отношению горкома комсомола, а не благодаря ему.

А те, кто курировал «Гринабель», стояли на том, что комсомол является единственным выразителем интересов и запросов молодёжи и единственно верной формой её организации. Именно это высокомерие, сознание своей единственности мешало относиться к «Гринабелю» спокойно, без ревности и выискивания обвинений. А нагнетание обвинений

достигало порой абсурда. Романтическая форма вовлечения в «Гринабель» уличных групп – расклеивание листовок с предложением собраться там-то и тогда-то, равно как и стремление вобрать в организацию хотя бы часть уличного мира города, было расценено как «стремление создать мощную организацию в противовес комсомолу». Хорошо, что шёл 1967, а не 1937 год, и к тому времени в местном управлении госбезопасности поняли, что на самом деле представляет собой «Гринабель». Но, проработав с подростками 8 лет, я всё же вынужден был уйти.



Взрослые игры

О Викторе я услышал впервые несколько лет назад. Мне сообщили, что он, недавний выпускник индустриального института, создал в Павлодаре подростковый клуб. От этого известия повеяло 60-ми годами. Сколько молодых людей разных профессий, названных ребячьими комиссарами, начали тогда знаменитое «хождение во дворы».

Вспомним, что писали о них газеты. Душевная выносливость. Пробивные способности. Поразительное бессребреничество. Умение уважать подростка не на словах, а на деле. Нестандартное мышление. Дар воспитательского творчества. Объясняя популярность подростковых клубов, шутиливо говорили о том, что ребячьи комиссары не иначе как гипнотизёры.

В самом деле происходили невероятные вещи. В клубы хлынули парни с «биографией». И они, с их-то стажем уличной жизни, легко расставались со своими лохмами и модными побрякушками, исправляли двойки, соблюдали «сухой закон», укрощали хулиганов. Бросали вызов не только родной среде, из которой вышли, но и формализму школы, комсомольских организаций. Проводили собрания без бумажек и заготовленных речей, мероприятия – без сценариев. Готовились к взрослости не в чинности отрепетированных мероприятий, а в самостоятельной, работающей, общественно полезной жизни.

Общественность тех лет подлавливала «трудного» на индивидуальном шефстве, расставляла сети шефства коллективного. А ребячьи комиссары строили свою работу иначе. Они делали ставку на неиспользованный потенциал положительных черт своих подопечных. В самом «трудном» находили ту силу, которая помогала им бороться против него и за него. Только здесь ломалась общая позиция уличных – недоверие.

Комиссарам удавалось главное – создать в клубах неформальные коллективы. Для этого они сохраняли за подростками их уличную независимость, их право принимать решения и устанавливать законы своей жизни, добровольно ставили себя в зависимость от своих воспитанников.

Кое-где комиссары даже избирались тайным голосованием.

Как можно больше самостоятельности, как можно больше доверия, как можно больше прав подросткам – вот три кита, на которых держалась комиссарская работа.

Престиж клубов не упал даже тогда, когда они, метко названные «ранними подснежниками», почти повсеместно перестали существовать. Их способность привлекать «трудных», неформалов – поглощать улицу была так очевидна, что во многих городах страны спустя несколько лет они стали возникать вновь. Только теперь по инициативе сверху.

Произошло это и в Павлодаре. Тогда и переслали мне небольшую статью Виктора, опубликованную в местной газете. «Мы стремимся, – писал Виктор, – сделать пребывание в клубе привлекательным для ребят, романтизировать жизнь коллектива, построить её по непривычным, новым для подростка законам. Большую роль в этом играет военизированная структура органов самоуправления и внутреннего распорядка, устав, субординация, знаки воинского отличия. Игровой армейский элемент дисциплинирует ребят. Ведь одно дело подчиняться окрику, надоедливому напоминанию со стороны взрослых. А другое дело выполнять чёткий, коротко сформулированный приказ командира. Здесь нет необходимости в нудных поучениях, нотациях. Достаточно одного-двух нарядов вне очереди и как крайняя мера – отчисление, что очень тяжело переносится ребятами и потому применяется редко.

Жизнь клуба наполнена активной, многообразной и разнохарактерной деятельностью. У нас есть своя библиотека, фотолаборатория, выпускаются стенгазеты, организуется дискотек «Пламя». Предоставлена широкая возможность для физической закалки. Обязательной является строевая подготовка, занятия самбо, создан спортивно-технический клуб «Багги».

А потом я оказался в поездке в Павлодаре. Виктор с гордостью показывал своё служебное помещение. Двухкомнатная секция на втором этаже жилого дома. Приличная мебель. Телефон. Телевизор. Сейф. Круглая печатка на столе. Ну что ж. Подросткам нравится, когда их клуб действует как организация и не уступает в чёткости иным взрослым учреждениям. Хуже,

если они не понимают, для какой такой важной надобности изготовлена в законном порядке круглая печать.

Помещение, предназначенное для ребят двумя этажами ниже, впечатляло меньше. Подвал есть подвал. Но в общем тоже смотрелось. Строители поработали на удивление. Хорошо настланные, без щелей, полы. Хорошо выкрашенные, в приятные цвета, стены. Достаточное освещение. В окна поступал свежий воздух. До комфорта далеко, но работать можно.

Виктор сказал, что оба помещения выбиты и оборудованы за год с небольшим. Вот что значит инициатива сверху. Обычно энтузиасты месяцами искали какой-нибудь замурзанный подвал. Правдами и неправдами добывали доски, краску, клянчили списанную мебель. Главной рабочей силой были сами ребята. А о наземном помещении даже мечтать не смели.

Правда, я уже знал, что тут не одного Виктора заслуга. Помещения, выбил горком комсомола. Первый секретарь горкома В. Долгушев договорился с горисполкомом. Исполком дал клубу статус дворового. Горжилуправление произвело ремонт. И выделило годовой бюджет в две с лишним тысячи рублей.

Сумма по нынешним ценам невелика. Но это твёрдый прожиточный минимум. Об этом подростковые клубы прошлых лет даже не помышляли. Созданные вне сметы, они были словно пасынки. Никто не хотел брать их на содержание. «Докажите сначала свою жизнеспособность, тогда начнём вас финансировать», – всерьёз заявлялось ребячьим комиссарам. Приходилось рассчитывать на собственные руки, редкие подарки добровольных шефов и умение довольствоваться малым... Нет, две тысячи в год – это немало. При бережном отношении к инвентарю, при его экономном накоплении.

Когда мы обзревали с Виктором его владения, в двухкомнатной секции ребят не было. В подвале, правда, гоняли по столу теннисный шарик трое. Где же остальные? Ведь по словам командира в клубе больше ста ребят. На летних каникулах, отвечали мне. Кто в пионерском лагере. Кто в ЛТО. Кто у бабушки в деревне.

– А почему не организовали свой лагерь? – спросил я Виктора.

– Была такая мысль. Но меня не поддержали.

Жаль, подумалось мне. Раньше с этого клубы начинались. Собирали в трудовом или военно-спортивном лагере «трудных». Маялись с ними, не без этого. Зато возвращались в город почти сложившимся коллективом, с более серьёзными взглядами на жизнь. В этих лагерях было единственное воспитание, которое не вызывает протест у пацанов, – воспитание в испы-

таниях. Потому после лагеря никому не хотелось расходиться по своим компаниям. Так рождалась идея создать клуб.

А в уже созданном клубе лагерь играл две серьёзные роли. Был для ребят заманчивой дальней перспективой. (К нему готовились всю зиму.) И как бы склеивал коллектив. Не давал ему распасться летом.

– Как пришли ребята в клуб? – спросил я Виктора.

– Очень просто. Повесил в школах объявления.

Очень просто... С этим я не мог согласиться. С кого начать? С каких ребят? Это вопрос принципиальной важности. По крайней мере, он был таковым для комиссаров.

Наверное, они чаще других гуляли по вечерним улицам. Смелее других заглядывали в укромные места, где собирались подростки. В тусовки, как теперь говорят. Видели, что они там вытворяют, предоставленные самим себе. И потому острее чувствовали, какую угрозу представляют пацаны, прежде всего для самих себя. И как важно уберечь их от больших глупостей. Есть спасатели в горах, на воде, есть «скорая помощь». Ребячьи комиссары создавали свою службу спасения – подростковые клубы.

Они шли во дворы. Выбирали самые беспутные сообщества и предлагали им объединиться. Предложение, как правило, принималось. Потому что это в характере уличных – уважать силу, стремиться стать силой. Отмечались любопытные закономерности. Чем испорченней компания, тем сильнее её влияние на другие компании. Тем легче эти компании присоединить. Чем испорченней подростки, тем активней и смелей они начнут наводить порядок в зоне действия клуба. Причём наиболее ощутимые результаты достигались там, где не стремились объять влиянием клуба целый район. Начинали с микрорайона. Когда уличная среда вычищалась в этих масштабах, шли дальше. Такой подход позволял объективно отмечать итоги работы. Сократилось до минимума число неформальных групп, снизилось число правонарушений среди несовершеннолетних в таком-то микрорайоне (там, где действует клуб) – клуб выполняет свою социальную роль. Оценка воспитательной работы по числу секций, кружков и мероприятий выглядела в сравнении просто смехотворной.

Ребячьи комиссары во многом действовали вопреки здравому смыслу и укоренившимся представлениям. Сначала собирали уличных, а потом

искали помещение, изобретали, как заработать средства. Легкомыслие? Дилетанщина? Нет. Во-первых, необходимость. После хождений по кабинетам комиссары понимали: никто не даст помещений и средств под их сомнительные идеи, пока нет конкретной массы ребят, о которых волей-неволей надо проявлять хоть какую-то заботу. И, во-вторых, здесь крылся дальний расчёт. Сделать пацанов партнёрами по созданию клуба. Включить их в социальное творчество. Чтобы, создавая клуб, подростки создавали и пересоздавали самих себя. Наводя порядок в микрорайоне, следили за порядком в своих собственных рядах. Отвечая за репутацию клуба, учились отвечать за своё поведение.

Виктор начал работать с теми, кто пришёл сам. Значит, это были не те, для кого клуб создавался.

– В городе около 600 подростков, стоящих на учёте в милиции, – говорил мне секретарь горкома комсомола. – А сколько тех, кто на грани? Надо вовлечь в клуб хотя бы какую-то часть.

Сколько же «трудных» собрал Виктор?

– Рано нам браться за них, – сказал он мне. – Надо сначала создать сильный коллектив.

Можно мысленно не соглашаться с собеседником. Но прежде чем возразить вслух, надо узнать, чего он хочет, как мотивирует свои действия. Оказалось, не просто так остановил свой выбор на военизации. Во-первых, проще, окружив себя командирами из числа подростков, с ходу брать в оборот любого «трудного» новичка. Во-вторых, в военных занятиях куётся настоящий мужской характер. Это должно импонировать уличным.

– Но у нас слабая материальная база, – добавлял Виктор. – Нет малокалиберных винтовок, учебных автоматов, портативных раций, палаток, формы.

– Обратись вместе с военкоматом в Среднеазиатский военный округ, – сказал я ему. – Армия всегда находила возможность помочь подростковым клубам.

– Была такая мысль, – сказал Виктор. – Но меня не поддержали. Надо переговорить ещё раз.

Я знал, что уличные не очень-то любят, когда в клубе слишком много «ать-два». Но, может быть, Виктор придумал что-то для баланса? У Макаренко ребята тоже ходили строем, стояли на часах у знамени. Но чего стоило для них одно только самоуправление. Заседания органов

коллектива были самыми настоящими полигонами граждански активности, принципиальности, честности. А полное самообеспечение себя собственным трудом! Кажется, самые маленькие воспитанники Макаренко отлично знали, что такое самофинансирование и хозрасчёт.

Увы, я уже знал, что общие собрания в клубе проводятся редко и скучно. А труда нет вообще. Это при том, что постоянно не хватает двух тысяч, выделяемых горжилуправлением.

– Я просил в горкоме дать ребятам работу. Но меня не поддержали, – сказал Виктор.

Я спросил, читал ли он Макаренко.

– Почитаем, – бросил он.

Мы распрощались. Договорились поддерживать связь. Я написал первым. Но не получил в ответ ни строчки. Потом узнал, что Виктор ушёл из клуба и теперь преподаёт то ли в зональной комсомольской школе, то ли в Доме политпросвещения. Там больше платят и больше возможностей получить квартиру. А клуб закрыт, ребята разошлись.

В прошлом году узнал: клуб снова работает. Комиссаром там выпускник пединститута Гайдар Саркыншаков. А командир снова Виктор Д., только он не в штате, а на половине ставки.

Такие ситуации тоже бывали. Организатор клуба устаёт. Его уже устраивает мизерный оклад. (В данном случае оклад педагога-организатора – это чуть больше 100 рублей.) Растёт семья. Возрастают потребности. Организатор находит более оплачиваемую работу. С большой душевной болью рвёт со своим детищем. Клуб начинает хиреть. В организаторе поднимаются родительские чувства. Он решает продлить дни клуба участием в его работе внештатно, на общественных началах. Но так уж устроена работа с подростками. Невозможно заглянуть в клуб и тут же уйти. Надо оставаться там весь вечер. Невозможно бывать от случая к случаю. Вот и разрывались комиссары,

Не случайно восхищались их самоотдачей.

* * *

Не случайно так быстро меняли взгляды на жизнь «трудные». Они видели перед собой живой пример самоотверженной работы «за идею». За них, непутёвых. Пример отношения к жизни и труду настоящей человеческой личности.

На телефонные звонки никто не отвечал. Я решил, что испорчен телефон. Приехал в клуб. Оба помещения закрыты. Подростки, что сидели во дворе, сказали:

– Там редко кто бывает. Особенно летом.

– А разве вы туда не ходите?

– Немного походили и перестали. Там даже в теннис не поиграешь.

Здесь к клубу подошли несколько парней с бутылками. Пили прямо из горлышка. Прямо у входа в клуб. Куражились:

– У нас пэдэ. То есть пьяный день.

– Не бойтесь, что хозяева клуба возьмут под белые руки и отведут куда следует?

– Бояться? Кого? – оскорбились пьянчуги. – Этих, что ли? – показали на закрытую дверь клуба.

Потом я познакомился в горкоме с комиссаром Гайдаром Саркыншаковым. Вместе мы приехали в клуб. Подвал пуст. Хоть шаром покати. Даже теннисный стол куда-то пропал. Только в одной комнате занимаются, похоже, штангисты. «Пустили взрослых, рабочих с тракторного завода», – сказал Гайдар. Прекрасно! Это мечта каждого ребячьего комиссара. Чтобы в клуб пришли увлечённые взрослые и увлекли подростков. «Нет, штангисты сами по себе занимаются», – сказал Гайдар.

Поднялись наверх. Телевизор сломан; Беспорядок. Снова лето, и снова нет лагеря.

– А где же ребята?

– Есть человек двадцать, – говорит Гайдар.

– Чем занимаются?

Комиссар пожимает плечами. На стене приказ, подписанный Виктором. В нём устанавливалась численность клуба. Три взвода. В каждом по 15 человек. Всего 45.

– А как быть с утверждением, что общая численность больше сотни?

Гайдар пожимает плечами. Читаю другой приказ: «За систематическую неявку командир отчислил разом пятнадцать пацанов».

– А почему не ходили? Значит, было неинтересно.

Вижу, Гайдару надоело уклоняться от прямых ответов. Пора задавать прямые вопросы. А как часто бывает в клубе Виктор? Когда как. Когда раз в неделю, когда два. Позже я узнаю, что когда Гайдар не выполняет каких-то распоряжений, Виктор снимает с него стружку, жалуется в горкоме, велит писать письменные отчёты за каждый день.

- Ребята видят ваши разногласия?
- Этого не скроешь.
- Ну а в чём разногласия?

– Я считаю, что мы заиклились на военизации и других формально организованных занятиях. У ребят нет настоящего дела. Такого, чтобы хватило их. В нашем общении с ребятами должно быть больше простоты.

Узнаю, что Гайдар увлечён гитарой. Сам сочиняет и поёт интересные песни. Ребятам нравится. Признаёт, что не хватает организаторских способностей, умения потребовать. Может быть, не хватает и других качеств. Поэтому Виктор считает, что он мало работает. Но какой-то странной кажется ситуация. Нештатный командир, который сам не выкладывается в клубе, требует активной работы от штатного, который тоже, как когда-то и командир, получает сто с небольшим. Но не это главное. Главное – что вообще происходит с клубом? Что он из себя представляет? В газетах о нём мелькают небольшие статейки. Но они не дают ответа. Только добавляют вопросов. В одной написано, что ребята увлечённо занимаются в секциях волейбола, баскетбола, настольного тенниса, хоккея. А в другой говорится, что в клубе нет хоккейного снаряжения, мячей. Ну а то, что нет стола, сам видел. Который раз слышу: действует клуб «Багги». Выясняется, что в этом «клубе» всего одна машина. И та постоянно в ремонте. И эти постоянные сетования. Читаю в одной статье: «Горжилуправление выделяет такие же суммы, как простому дворовому клубу. При этом не берётся в расчёт то обстоятельство, что клуб действует не в дворовом масштабе, а в масштабе города – сюда приезжают ребята со всех концов Павлодара».

Ну, простой дворовый клуб худо-бедно охватывает как минимум сотню малышей. А сколько в этом «непростом»? В статьях пишут – больше ста. Тем же прошлым летом справлял клуб очередную годовщину. Сегодняшних членов было не больше десятка. Может быть, виновато лето, все разъехались? Осенью я снова побывал в Павлодаре. Снова пришёл в клуб. И снова не увидел там ребят.

И последние вести из Павлодара: Виктор призван в армию, Саркыншаков уволился. По сообщениям газет, в клубе небывалое число ребят – 140. А горком комсомола сейчас одержим идеей превратить клуб в военно-патриотическую школу ДОСААФ.

Так что же всё-таки происходит с этим клубом?

Передо мной пятистраничное письмо, подписанное секретарём горкома комсомола. Оно адресовано секретарю центрального райкома ВЛКСМ города Комсомольска-на-Амуре. Тот, надо полагать, узнал о павлодарском подростковом клубе, просил написать о нём. И вот ответ. Приведу из него всего несколько слов. «Личный состав клуба занимается сборкой-разборкой автоматов, организацией военно-спортивных лагерей, плаванием в бассейне с аквалангом... Курсанты изучают теорию парашютного спорта, а затем – практику: выезд на парашютные десятидневные сборы в другой город...»

Это письмо дал мне Гайдар. Я храню его вместе со статьями о клубе, в которых правды всё-таки побольше. И который раз спрашиваю себя: зачем весь этот блеф?

Вернёмся к началу. В городе тревожное положение с подростками. Об этом годами говорится с разных трибун. Индивидуальное и коллективное шефство не помогает. Дворовые клубы «трудные» обходят стороной. Внешкольная работа учителей остаётся благим пожеланием. Да и от неё не приходится ждать каких-то результатов. Потому что у «трудных» к учителям идиосинкразия. Делать нечего. Решают вспомнить опыт прошлых лет – вернуть к жизни подростковый клуб.

Слышали, что 10–15 лет назад «трудных» можно было увлечь военкой: марш-бросками, военно-спортивными лагерями, парадными шествиями со знаменем и эскортом, почётными караулами, военными играми на местности, практической подготовкой к службе в армии. И решили сделать этот профиль ведущим. Есть ещё ребята, которые сохраняют интерес к такого рода романтике. Они-то и стали записываться в клуб.

Но военка оказалась не такой, какой выглядела в объявлениях и статье в местной газете. Строевая подготовка имеет смысл, когда клуб участвует в демонстрациях, идёт отдельной парадной колонной, показывая городу и сверстникам красоту своего коллектива. Но об этом и речи не было. Вставай в строй, коли пришёл, и без рассуждений! Ещё ребят пытались усадить за изучение воинских уставов. Тоже, скажем прямо, занятие не из весёлых. Обещали стрелковую подготовку, а своих винтовок и стрельбища нет. Пока договаривались со школами, чтобы у них вести занятия, целый год прошёл... Но и после этого стрельбы проводились от случая к случаю. Военные игры, похоже, даже раз в год не проводили. Военного покроя форменки и то не выдали ребятам. В округ за помощью не обратились.

А в самом Павлодаре – ни воинской части, ни военного училища.

Подростки разочаровались, ушли. А организаторы клуба, вместо того чтобы перестроить работу в соответствии с реальными возможностями, переключиться на другой профиль, хватили ещё выше. Вознамерились готовить ребят... к поступлению в военные училища. А у самих ни материальной базы, ни собственной квалификации, ни опыта. И тогда возникла идея перейти под крыло областного комитета ДОСААФ, превратить клуб в военно-патриотическую школу. Местное руководство ДОСААФ не спешило принимать такое решение. А в самом клубе уже разыгрались фантазии. Обещания стали расцениваться как достигнутые договорённости. Желаемое принималось за действительное. То, чего, может быть, никогда не будет, – за то, что уже есть.

Было бы несправедливо усматривать тут какое-то очковитительство. Молодые парни просто запутались в неудачах, в эмпирике уличной педагогики. Им бы вчитаться в Макаренко – не знаю, что этому помешало. Им бы собрать по крупицам опыт предыдущего поколения ребячьих комиссаров. Но что такое в 21–25 лет чужой опыт, когда распирает уверенность в способности проделать свой путь? Их бы с самого начала подкорректировать, да не с тех начали. Но горком комсомола, создав клуб, похоже, тут же о нём забыл. Им бы самим, пусть неумело, зато честно и – смело заняться спасением трудных, играть взятую на себя социальную роль. Сами «трудные», не привыкшие приспособливаться, прямо заявили бы, что не так в клубе. В самом педагогическом бое за «трудных» рождались бы идеи, как лучше работать дальше.

Подвело, как мне кажется, стереотипное представление, что интересные занятия воспитывают сами по себе. Но даже если бы действовали в клубе секции самбо, бокса, акваланга, парашюта, ещё рано было бы говорить о воспитании. И тем более о перевоспитании. Потому что эти занятия, не подкреплённые духовной жизнью клуба, только подыгрывали бы суперменским настроениям подростков. Добр пацан или зол? Правдив или лжив? Совестьлив или нагл?

Лучшие моральные качества, тоже требующие упражнений, не разовьёшь ни в каких секциях или кружках. Они обычно вырабатываются в других формах жизни клуба. В труде на пользу коллектива. В тяжёлых

физических преодолениях. В мужественных действиях по поддержанию порядка в своей округе. В открытых и честных дискуссиях. В реальном самоуправлении. Наконец, в чистых товарищеских взаимоотношениях, которые опять-таки возможны только в обстановке борьбы, преодолений, труда, принесения пользы.

«Почему-то большинство ребят считают выскочками тех, кто старается что-то сделать для клуба. Больше спрашивают, когда у нас будет то-то и то-то. От них редко можно услышать: давайте сами сделаем. Много говорят о недостатках, но хотят, чтобы эти недостатки исправляли другие, не они». Так писал мне о своих трудностях прежний комиссар клуба Олег Можейко.

Добавляю мысленно постоянные жалобы Виктора: «Помещение плохое. Денег дают мало. Летний отдых организовать не помогают. Не дают подходящего места для коллективной работы. Идею о поездке в округ не поддерживают». И вырисовывается ещё один серьёзнейший просчёт.

Подростковую педагогику вообще невозможно представить без труда в пользу клуба. Даже если бы выделялось не две, а десять тысяч, всё равно следовало бы найти для пацанов работу. «Не дают» – это не аргумент. А сам командир для чего? А комиссар?

Да, подвал есть подвал. Из него дворец не сделаешь. Но если пока «не светит» другое помещение, надо как-то устраиваться в этом, не таком уж плохом. Оборудовали ведь штангисты с тракторного завода комнату, любодорого посмотреть.

Ну и летний лагерь вполне можно было бы организовать самостоятельно. Или чаще выводить ребят в многодневные походы. Хоть что-то придумывать, хоть что-то делать для своих ребят. Или распустить на каникулы удобней?

Когда думаю, зачем это нужно – превращать подростковый клуб, призванный преобразовывать буйную энергию подростков, в школу, где эта энергия не найдёт выхода, возникает, грешным делом, не слишком приятное предположение. ДОСААФ даст помещения, учебные средства, инструкторов, и закипит настоящая работа. А заслуги – как? Попролам?

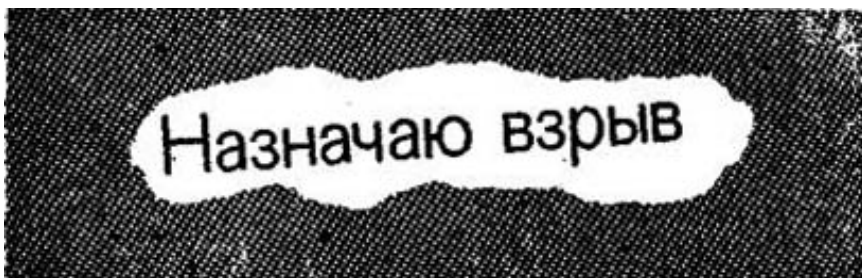
Бросим в прошлое подростковых клубов ещё один, последний взгляд. Мы уже знаем, каково им жилось. Но в самые трудные моменты они не опускались до полного иждивенчества, неукоснительно соблюдали принцип получения и отдачи.

«Что я дал клубу?» Этот вопрос всегда стоял впереди вопроса «Что мне дал клуб?». Какой от нас толк? Что мы даём городу, обществу?»

Этот вопрос без ложной патетики звучал на клубных собраниях. Ответом были конкретные полезные действия, дела, деятельность. Ребячьи комиссары понимали: нужно воспитывать не безгласного исполнителя, а активную личность. Для этого требовалась ориентация коллектива не на иждивенчество, а на альтруизм.

Может быть, не стоило бы разбирать так подробно чьи-то просчёты. Но есть одно довольно серьёзное опасение. 10–15 лет назад «трудного» называли загадочным сфинксом. За истекшие годы он стал, пожалуй, ещё недоступней. Но как только открывается клуб, где он может стать героем и хозяином своей жизни, он идёт туда не раздумывая. Популярность подростковых клубов с годами не убывает. И эту, не единственную, но наиболее привлекательную, форму работы надо всячески оберегать от дискредитации формализмом и дилетантщиной, недобросовестностью.

И в заключение хочу рассказать об одном случае, который не так давно свёл меня с одним из запущенных подростковых клубов, и я, погружённый в подростковые проблемы уже как журналист, но разбередивший свои старые незажившие, раны после встречи с павлодарским клубом, решил проверить на практике свою давнюю задумку. Не для того, чтобы упрекнуть сегодняшних несостоятельных руководителей подростковых клубов, вот, мол, как надо работать, а чтобы лишний раз убедить себя и других, что работать можно и нужно в любых обстоятельствах. Ребята готовы прилепиться к нам душой, если чувствуют, что их хотят понять, если взрослые верят, что они способны не только на дурные поступки и дают им возможность доказать это окружающим.



Всё началось с обыкновенной прогулки. Поздно вечером я вышел из дому подышать свежим после дождя воздухом. И услышал на противоположной стороне улицы, в тени автобусной остановки, странную возню. Похоже, кого-то молча, с большим садистским вкусом избивали. Чтобы не спугнуть хулиганёв, я стал приближаться с видом идущего своей дорогой человека. И, наконец разглядел, что происходит. Один подросток, высокий и белобрысый, обхватил сзади пьяного мужчину и не давал ему защититься. А другой подросток, поменьше, совсем сопляк, лет тринадцати или четырнадцати, бил мужчину в лицо. То одним кулаком, то другим. Да с подскоком. Стараясь, видно, «вырубить», лишить сознания. Но у него не получалось. Мужчина даже не стонал. Стоял молча, только окровавленное лицо его дёргалось от ударов.

Первым меня заметил белобрысый. Короткое, тревожное «атас!». И вот уже нет пацанов, исчезли в кустах, растворились в темноте.

Потом случай свёл меня с руководительницей соседнего дворового клуба «Салют». Она знала этих ребят. Утверждала, что на учёте в милиции они не состоят и замечены лишь в том, что с непостижимым интриганством выживают одну воспитательницу клуба за другой. Вот и она больше не может – будет уходить.

Я решил узнать этих ребят поближе и взял за правило прогуливаться во дворе, где жили ребята. И однажды... я понял, что более подходящего случая может не представиться...

* * *

Трюк был почти смертельный. Лёвка Варнаев, перелезая с балкона на балкон, спускался с восьмого этажа.

Накануне у него сорвалось с языка, что сделать это – дело плёвое. «Не надо ля-ля», – скривился Максим. Мальчишки злорадно заржали. Лёвка воспринял смех, как щелчок по носу, и решил доказать... Уличный рекорд риска был почти побит, но тут неожиданно вмешался отец Пашки Фомина. Он возник на балконе третьего этажа, когда Лёвка задержался там, чтобы перевести дух и порисоваться. Пашкин отец был пьян и потому принял Лёвку за квартирного воришку. Он припёр его своим большим голым пузом к перилам балкона и зарычал:

– Прыгай или я тебя в милицию сдам!

Я понял, что другой повод установить контакт с ребятами мне не скоро представится.

– Отвяжись-ка от него! – громко сказал я Пашкиному отцу.

Тут на балкон вылетел сам Пашка и заорал на родителя:

– Ты в своём уме? Лёвку не узнаёшь?

Когда конфликт был исчерпан, Лёвка буркнул, обращаясь ко мне:

– А ты кто будешь, земляк?

Так начался мой эксперимент.

* * *

А изначальный замысел возник просто. Перелистывая Макаренко, я как-то по особому увидел предложенный им метод «взрыва». Всё, что завещал классик, я мысленно примеривал к сегодняшнему дню, и метод «взрыва» показался мне вполне пригодным для дворовой педагогики.

Напомню читателю, что под взрывом Макаренко подразумевал «доведение конфликта с «дефективной личностью» до последнего предела, до такого состояния, когда уж нет возможности ни для какой эволюции, ни для какой тяжбы между личностью и обществом, когда ребром поставлен вопрос – или быть членом общества, или уйти из него».

Для проверки гипотезы требовались две вещи. Стихийное дворовое сообщество с явной предрасположенностью угодить на известную скамью и место, где это сообщество можно было бы собрать для дела или разговора. Времени требовалось не больше месяца. Государственных средств – ни копейки.

Я пошёл в роно и попросил разрешения внештатно поработать в дворовом клубе под названием «Салют».

Только честно предупредил, чтобы подыскивали постоянного воспитателя, а я буду только на время эксперимента.

Я нашёл двор, где располагался «Салют», несколько часов понаблюдал за теми, кто создал ему такую жуткую репутацию, и понял, что под таких архаровцев так просто педагогическую мину не подведёшь. Подростки играли в карты, звон бутылок о край гранёного стакана гармонировал с сумерками почти ежевечерне. И этот вид времяпровождения был, увы, не самым безобидным.

У каждого педагога свои представления об организационном периоде. Можно прежде всего принять по ведомости клубный инвентарь. Можно познакомиться с ребятами и только потом подавать или не подавать заявление о приёме на работу. У меня был случай особый. В упорстве, с которым подростки выживали педагогов, была какая-то тайна. Надо было разгадать её и только потом представляться: «Здравствуйте, я такой-то». Надо было разгадать психологию этой дворовой группировки, наблюдая её в полном естестве, увидеть те её стороны, которые обычно прячутся не только от педагогов, но и от всякого постороннего взгляда.

Пришлось входить в положение этакого лазутчика от педагогики. Домино для меня игра тошнотворная, но я целыми вечерами мужественно стучал костяшками в компании маек и пижам. Доминошники были истовые, они установили на крыше соседнего дома мощный прожектор, который одноглазо бил светом прямо в наш стол, не задевая беседку, где толклись подростки. Беседка была в двух шагах, но отцы семейств вели себя так, будто им всё равно, что о них подумает потомство. И потомство платило им той же монетой. Слова не выбирали, голоса не понижали, взрослых «в упор не видели».

* * *

Через несколько дней я уже приблизительно знал, кто есть кто в соседнем мужском «клубе».

Главный в обществе Максим Ковшов. Плотный, с квадратными плечами, не по годам уравновешенный парень лет шестнадцати. Родители его развелись и разъехались по разным городам страны, а Максим остался с бабушкой. Та давала ему полную волю, но внук привилегиями не злоупотреблял. Не дерзил, деньги не транжирил, домой приходил не позже двенадцати («Бабуля не спит, тревожится. Жалко бабку»). В ту пору он окончил восьмой

класс и осенью собирался поступать в ПТУ, учиться на мастера по пошиву дублёнок. «Толку-то, что родители с высшим, – говорил он приятелям. – Всю жизнь в долгах».

Ближайший дружок Максима – Лёвка Варнаев по кличке «Бес». Высокий, пластичный рыжеватый блондин с длинными пушистыми ресницами и большим носом. Характер у Лёвки был заводной, взрывчатый, отсюда и прозвище. Любил он покрасоваться, чтобы хоть чем-то затмить Максима. Был он зачинщиком всех выходок и проказ.

Третья по значимости личность в сообществе – Пашка Фомин по прозвищу «Шомпол». Очень худой, очень высокий, очень молчаливый и мрачный. Отец Пашки страдал алкогольным бредом ревности.

Набравшись портвейна, начинал припоминать жене супружескую измену, якобы совершённую в молодости; В такие моменты Пашку не было видно в беседке, зато было слышно через открытые окна квартиры, «Батяня, кончай бузить! Перед людьми стыдно!» – истошно орал он. Появлялся в беседке тяжело дыша и потирал ссадины. «Опять сражались?» – спрашивал самый младший в компании, четырнадцатилетний Севочка. Пашка молча отмахивался и жестом просил сигарету. В такие вечера его не задевали, он сам искал, на ком бы сорвать зло.

На особом месте был Севочка – фигура ничем не примечательная, косилапая, чрезвычайно подвижная, до истеричности крикливая и тем не менее находившаяся «в авторитете». Севочка был зачинщиком всех потасовок с «чужими», большой мастак по части срамных анекдотов, играл в любую из известных в компании карточных игр, по складу характера тяготел в Лёвке. К Максиму относился как наследный принц, проявляя назойливую готовность примерить корону уличного короля.

Были в сообществе и другие дружеские микрогруппы, но эта четвёрка была самой сплочённой и нахрапистой. От неё исходили почти все идеи, как убить время. Она была самой денежной. И наконец, у неё были на стороне дружки из числа парней лет двадцати.

Разумеется, наибольший интерес представлял Максим Ковшов. Следуя нехитрой логике, я делал такое умозаключение. Для большинства ребят угроза таится во влиянии четвёрки. Если же персонифицировать угрозу, то этим лицом должен быть Максим. Увы, наблюдения этого не подтверждали.

Далеко не всегда мнение Максима было решающим. Его уважали, к нему прислушивались, но он не мог или

не хотел навязывать свою волю. Командировать пытался только Лёвка Варнаев. Но его притязания встречали дружный отпор, а Максим неизменно принимал сторону большинства. Подросткам присущ своеобразный инстинкт справедливости, и с этим инстинктом не может не считаться всякий уличный лидер, желающий сохранить своё положение первого среди равных. Наиболее остро этот инстинкт проявляется в силовом соперничестве, особенно сильно бьющем по самой уязвимой мальчишеской пяте – самолюбию. Максим никому не позволял унижать слабых и младших. В сообществе царил принцип равного достоинства. Хранителем этого принципа был Максим. На эту положительную сторону его личности я и мог, казалось бы, смело рассчитывать. Но была у верховода и слабая сторона, которая как бы перечёркивала положительную.

Подростков мучила финансовая зависимость от родителей. Тех карманных денег, которые им выдавали дома, хватало только на кино и мороженое. Предки совершенно не считались с другими запросами юной поросли, и той приходилось изыскивать свои источники. Втихую разорялись домашние библиотеки, шла торговля макулатурными абонементом и книгами. Иногда ребята стояли целую ночь в очереди за дефицитным товаром и затем продавали его втридорога.

Представитель наименее предприимчивой части сообщества, девятиклассник Слава Аникин предлагал простой способ добычи денег – пойти и заработать. В условиях большого города это не проблема. Максим соглашался, но Лёвка запальчиво выступал против. Максим почему-то уступал, и вспыхнувшее здоровое стремление тотчас угасало.

Каждое уличное сообщество имеет свои особенности. Но есть и универсальные черты. Вот как эта: если лидер не так уж испорчен, а общая тенденция сообщества социально-отрицательная, ищи рядом с добрым уличным королём зловредного серого кардинала. Ничьих интриг я так не опасался, как со стороны Лёвки-Беса.

Я мысленно произвёл фантастическую операцию – отсекал от сообщества его верхушку. Оставшиеся выглядели нормальными подростками с легко изживаемыми завихрениями. Всё лучшее, что они взяли от родителей и общества, ещё не ушло под гнёт уличных представлений о «настоящем мужчине» и «настоящей жизни».

Наиболее ярким представителем большинства был Слава Аникин. От него исходили самые здоровые предложения. То он звал ребят на рыбалку, то в кино или в цирк.

Он единственный не уснащал свою речь матерщиной. Да и физически не уступал тому же Максиму. Если считать уличное влияние самовоспитанием в обстановке выбора противоположных воздействий, то Слава Аникин был наиболее влиятельным противовесом четвёрке и Лёвке в частности.

* * *

Спустя месяц организационный период закончился. Я досконально знал расклад отношений внутри сообщества. Было ясно, кто будет яростно противодействовать и на кого я могу опереться. Я нащупал самое болезненное место у ребят – их идеал настоящего мужчины с туго набитым бумажником. И я чётко понимал, что они не прочь пойти и поработать. Хотя бы для пробы. Это была вероятная граница, по которой сообщество могло либо отколоться от своей верхушки, либо потянуть её за собой.

Я узнал также две главные тайны мальчишек. У них (если точнее, у Лёвки) был дубликат ключа от клуба. Они проникали туда, когда стояла дождливая погода, и уж наверняка коротали там долгие зимние вечера. Чем занимались – догадаться нетрудно... Вот так просто объяснилось нежелание ребят, чтобы в клубе был педагог. Всё равно какой, будь он хоть олимпийским чемпионом. Всего главнее для подростков была вседозволенность в рамках той свободы, которую они выкрадывали в клубе.

Вторая тайна касалась Максима и Лёвки. Однажды я увидел их возбуждёнными, спешащими куда-то. Что-то толкнуло меня пойти следом. Возле подъезда одного из домов стоял мотоцикл «Ява». Совсем новёхонький красавец. Они оседлали его и умчались. Я, как и владелец, и глазом не успел моргнуть... Всю последующую неделю беседка «гудела». В кутежах участвовали двое взрослых парней. По виду – непутёвые женатики, завсегдатаи пивных. Одного звали не то по фамилии, не то по прозвищу Рогулей.

Мне полагалось пойти и заявить. Номер мотоцикла и место угона я запомнил. Я не сделал этого.

Позже я постоянно возвращался мыслями к этому моменту: правильно ли я поступил? Конечно, формально я сокрыл преступление, но заявив я тогда сразу в милицию, ребят мне было бы уже не спасти. Есть ли выход из этого противоречивого положения? Честно говоря, не знаю.

Я знал руководительницу дворового клуба, которая, прежде чем приступить к работе, решила устроить грандиозный ремонт. Полуподвальное помещение виделось ей таким дворцом. Но ребята не стали дожидаться, когда взрослые торжественно разрежут ленточку у входа. Они забирались в клуб через плохо закрываемые окна, играли в карты, безобразничали, оставляя следы своего вторжения. Они довели руководительницу до белого каления. С помощью дружинников она выследила их и передала в милицию... Подвал так и остался подвалом, а руководительница вынуждена была уволиться... Нет, я знал, что у уличных подростков свои понятия о том, что такое хорошо и что такое плохо. И не считаться с этими понятиями – всё равно, что рубить сук, на котором сидишь.

К тому же не будем забывать главную цель, ради которой всё затевалось. Мне нужно было методом педагогического «взрыва» превратить стихийное дворовое сообщество в здоровый детский коллектив, который руководствовался бы общепринятыми нормами морали и нравственности. Так что вторая тайна могла мне пригодиться как детонатор будущего «взрыва».

* * *

Я собрал мальчишек в клубе и – словно шагнув в родниковую воду – объявил им, кто я такой. Свободолюбивое сообществе сначала онемело. Первым опомнился Севочка. Он сказал:

– Шёл ёжик по лесу. Забыл, как дышать, и помер. Вспомнил и опять пошёл.

А Лёвка завершил этот фольклорный перл – сыграл на гитаре похоронный марш. Все как по сигналу поднялись и направились к выходу.

– Ну и глупо, – сказал я как мог спокойно. – А я хотел предложить верный способ хорошо заработать. И даже нашёл подходящее место.

Первым у входа остановился Максим, за ним Слава Аникин.

– Где и сколько? – спросил Максим.

Я объяснил. Строители готовятся сдавать в эксплуатацию новый кинотеатр. Сроки поджимают, а убирать готовый объект от ворохов и куч строительного мусора некому, не хватает рабочих рук.

– Очень нам поможете, – сказал мне бригадир. – Озолотить не обещаю, но в обиде не будете.

После бурного обсуждения все выжидательно уставились на Максима.

– Годится, – сказал Максим.

– Только одно условие, – высунулся Лёвка. – Всякие там кружки и секции – это нам до лампочки. Будем как все люди – работать и отдыхать.

– Это общее мнение или только его? – я показал глазами на предыдущего оратора.

– Может, мы ещё диспут проведём? – съехидничал Севочка.

– Не надо нам мозги пачкать, – мрачно проворчал Пашка.

Остальные хранили неопределённое молчание.

– Мы ещё одну вещь не решили, – воспользовался Лёвка. – Насчёт денег. Я предлагаю – каждому на руки.

– А как же ещё?! – воскликнул Севочка.

Его поддержали единым воплем.

Я так рассчитывал на идею облагораживающего, образумляющего труда – и вот словно в капкан попал. Вчера они пили на ворованные, а завтра будут пить на заработанные. Олух! Недоумок! Я крыл себя последними словами. Но дёргаться, пытаюсь освободиться, было поздно. Надо было «держаться ногу» и делать вид, что ходьбе ничего не мешает.

– Согласен, – выдавил я. – Что касается отдыха, то почему бы нам не сходить в поход?

Неужели и от этого откажутся, вертелось в голове, тогда чем же их занять? Но братва одобрительно загалдела.

На другой день мы толпою явились на стройку. Часть ребят во главе со Славой Аникиным с хорошей жадностью принялась за работу. Остальные никак не могли настроиться. Мешал Лёвка. Наложив в носилки мусор, он бросил сверху окурочек сигареты, но тут же нагнулся и убрал его со вздохом: «И так тяжело». И этим скетчем настроил многих на баловство. К вечеру бригадир объявил, кто сколько заработал. Разница между Лёвкой и Славой равнялась шести рублям. Это произвело впечатление. Последующие четыре дня работа шла без нареканий. Но и здесь причиной был Лёвка. Он перестал выходить на работу, сманив Пашку и Севочку. Максим являлся, но работал вяло, небрежно, с таким видом, будто жевал лимон. Впрочем, на его состояние могли повлиять и другие события. Я тоже, как ни бодрился, чувствовал себя не в своей тарелке.

Взять хотя бы поход. Всё шло прекрасно. Пили чай, пекли картошку, пели песни, вели беседу о строении Вселенной,

спорили о музыке и ансамблях. Потом четверо друзей куда-то исчезли. Я ненароком заглянул, в их палатку и обомлел: сидят и пьют вино.

– В Древней Греции был хороший закон, – сказал я им. – Молодым людям до тридцати лет пить категорически запрещалось.

Вот так, юмором, пытался скрыть свою полную растерянность. Зато Лёвка нашёлся в момент.

– Сравнил! – воскликнул он. – Тогда акселерации не было.

И тут во мне что-то лопнуло, сломалось.

– Тебе сколько лет? – банально спросил я.

– Я в пивбар хожу, а ты мне про возраст, – усмехнулся Лёвка.

Кругом уже стояли ребята и смотрели на меня... Лучше не вспоминать. Наверное, они считали меня тютей, тюфяком. А Лёвка, видимо, решил, что наступил подходящий момент доконать меня.

* * *

На другой день я застал у клуба толпу жильцов. Мелькали знакомые лица мальчишек. Из окон клуба сочился удушливый дым. Кто-то уже бежал звонить пожарным. Я бросился к дверям. Кое-как открыл клуб, нашёл дымовую шашку, применяемую против гнуса, и выбросил в окно. Я задыхался, кашлял, из глаз катились слёзы. Жильцы ворчали, Севочка посмеивался, Слава Аникин сочувственно морщился, Лёвка странно отсутствовал, Максим... Максим стоял этаким сфинксом.

А назавтра меня остановили возле клуба Рогуля и ещё один лоб. И потребовали, чтобы я здесь «больше не возникал». Мальчишки со жгучим любопытством наблюдали, как я себя поведу. Я ответил на языке, который не слишком приличествует педагогу, но широко принят в уличной среде. Без брани, но весьма решительно.

– Мы тебя предупредили, – сказал Рогуля.

– В случае чего один не останусь, – ответил я.

У меня были приятели на спортфаке пединститута.

Прошла неделя, можно было подвести баланс. По трём позициям я начисто проиграл. Повёл ребят работать, связанный решением отдать деньги каждому на руки. Согласился, что в клубе не будет кружков и секций. Не разразился обличительной речью против несовершеннолетних любителей крепких напитков. По другим трём позициям я

шёл с перевесом. Не сообщил о последнем прискорбном факте родителям и учителям. Не стал расследовать, кто пробрался в клуб и зажёл там дымовую шашку. И наконец, не пошёл в ближайший опорный пункт, когда мне стали угрожать двое типов уголовного вида.

Если большинство ребят, за которых шла борьба, вели свой счёт, то они видели на табло ничейный результат. Но всякая ничья, как известно, всегда бывает чьим-то поражением. Что я мог смело записать в свой актив? Движение сообщества в сторону ещё большего социального одичания было застопорено и застыло в критической поворотной точке. Моё внедрение в уличную среду и твёрдое стремление остаться там во что бы то ни стало, не прибегая ни к чьей помощи извне, послужило первотолчком к коренной перестройке взаимоотношений. Каждый, кто раньше боязливо осуждал про себя выходки того же Лёвки, получил теперь в моём лице опору. Таким, как Слава Аникин, оставалось только окончательно убедиться в моей твёрдости, чтобы затем уже переступить через главный обычай улицы, диктующий хранить верность своим во что бы то ни стало.

Не хватало какого-то эмоционально сильного и нравственно высокого коллективного действия, которое слило бы меня с большинством. Это действие произошло случайно, но его влияние было решающим, и я пришёл к выводу, что такие действия можно даже организовывать. Даже нужно – для пользы дела.

Случилось это так. Завтра ребята должны были получать деньги, а сегодня готовили в клубе вечер, посвящённый этому неслыханному событию. Кто-то принёс магнитофон, кто-то проигрыватель, и теперь сообща отбирали для вечера лучшие записи и пластинки;

Я выждал, когда в помещении возникла секундная тишина, и сказал:

– Может, купим всё же что-то общее, например мотоцикл?

– Мы сами хотели предложить что-то в этом роде, – отозвался Слава Аникин.

– А ты что думаешь? – обратился я к Максиму.

Максим не успел ответить на трудный вопрос. Помешал стук в дверь. На пороге стояла заплаканная женщина.

– Вас много, – сказала она, – помогите ради бога! Он уверен, что за ним никто не гонится. Пошёл на автобусную остановку.

– Что произошло? – спросил я.

Он шёл сзади, – объяснила женщина. – Вырвал у меня сумочку. Я – за ним. А он говорит: «Ещё шаг, мамаша...» – не договорив, женщина разрыдалась.

Я расспросил о приметах мерзавца и бросился к дверям.

– Я тоже, – рванулся следом Слава. Один Лёвка стоял, не проявляя ни малейшей готовности. Всех остальных охватил азарт погони.

– Брать только живым! – возопил Севочка.

Как выяснилось позже, накануне Севочка собрал очередную дань с ребят из младших классов. По пять копеек с брата. Максим помог Лёвке угнать вторую «Яву». А Пашка после очередного «сражения» с отцом здорово побил совершенно незнакомого сверстника. Но вот, пожалуйста, они мчались во весь дух, обгоняя меня, охваченные готовностью покарать зло.

Я не мог приписать этот порыв исключительно себе. Хотя я не слишком уверен, что ребята так же ретиво бросились бы за грабителей неделей раньше, подойди женщина к их беседке. Но даже если бы они и помогли потерпевшей, этот благородный поступок едва ли остановил бы скольжение по наклонной. Вспоминали бы как очередное забавное приключение и только. Теперь же, совместив со мной (лично моя персона здесь ни при чём, вполне мог быть и другой взрослый, но с той же задачей), они действовали как некая великодушная рыцарская сила, как высоко организованный коллектив.

Мы настигли грабителя, севшего в автобус, и он, совершенно ошеломлённый таким числом преследователей, не успел выбросить кошелёк (от сумки избавился раньше) и покорно вышел из автобуса, где его уже поджидал милиционер.

В тот вечер и вырвалось у Максима:

– Может, и, правда купим мотоцикл?

* * *

Цель моего рассказа – описать существо эксперимента. Но, я думаю, есть смысл отвлечься, чтобы хотя бы в общих чертах понять мотивы, которые подвели Лёвку и Максима к двум преступлениям. Спустя несколько дней, когда всё открылось, я пытался вызвать Максима на откровенность, но исповеди не получилось. Зато его подружка, пятнадцатилетняя Лена, поведала без настойчивых расспросов:

– Понимаете, наверное, это у меня возрастное. Я дико люблю езду. Ну, а Макс, конечно, знал. Как-то мы шли

мимо кафе «Альтаир» и Макса окликнул какой-то взрослый парень. Оказалось, он работает барменом. Посадил нас в «Жигули» и часа два катал. Макс начал злиться. А я, честное слово, не давала никакого повода. Когда простились, парень говорит: «Теперь знаешь, как меня найти. Приходи, покатаемся ещё». На другой день Макс звонит: «Хочешь на «Яве» покататься?» Мы поехали за город. Я спрашиваю: «Чей мотик?» Макс говорит: «Один знакомый дал прокатиться. Скоро начну шить и куплю свой». А недели через две ещё раз повёз, только уже на другой «Яве».

После разговора с Леной беседа с Максимом пошла легче.

– С чего начали? – переспросил он. – А шут его знает! С карт, наверное. Старшие парни играли, а мы глазели. Денег-то у каждого – кот наплакал. А однажды Лёвка говорит Рогуле: «Давай на твой мотик?» В шутку вроде. «А если проиграешь?» – говорит Рогуля. «С меня шоколадка», – пошутил Лёвка. Так, вроде не всерьёз, начали играть. Лёвка два кона выиграл, а на третьем всё просадил. Рогуля, вроде в шутку, говорит: «Гони мотик». Ну, Лёвку и заело. Присмотрели мы возле одного дома «Яву»... Рогуля перепродал кому-то. Нам по сотне отвалил. Фуганули мы те денежки за неделю. Потом Лёвка говорит: «Есть на примете ещё одна «Явочка». Я знал, что такие подвиги добром не кончаются. Но, думаю, рискну последний раз. Мало радости в колонию загреметь...

– Колония, так колония, – говорил мне Лёвка. – Больше трёх лет не дадут. Никто от этого ещё не умирал.

* * *

Мы получили гораздо больше денег, чем требовалось на покупку мотоцикла, и каждый получил по пять рублей карманных денег.

– На вечер каждый должен прийти как стёклышко!

Это было первое требование, которое я предъявил со всей категоричностью и которое шло вразрез с установившейся уличной привычкой: туда, где веселье, нужно идти навеселе. Я предчувствовал, что Лёвка сам нарушит запрет и друзей впутает. Четвёрка вольно или невольно сама вызывала на скандал, а мне нужен был последний бой.

При всех я потребовал у Лёвки ключ от клуба. Тот полуугрожающе-полурастерянно обводил взглядом ребят, пытаясь догадаться, кто же выдал. Остановился на Славе Аникине.

– Твоя работа?

– Ты считаешь, что об угонах мотоциклов тоже Слава сказал? – на-смешливо спросил я.

Последовала немая сцена. Было тихо, но это была оглушающая тишина. А мне нельзя было терять темп. Речь была давно готова. Надо было только произнести её. Смысл был такой. Я сказал, что анархии пришёл конец. Карты, спиртное, драки отменяются на вечные времена. Севочка не будет провозглашён уличным королём. С такого рода преемственностью покончено. Я ничего не навязывал. Включая самого себя. Если я не угоден, я уйду, а вы катитесь дальше по наклонной, если вам так нравится. Если вы со мной согласны, то вот моё главное условие: мы должны начать отношения с чистой страницы. Поручкой тому пусть будет признание Максима и Лёвки. Они должны пойти и заявить на самих себя. Каждый человек должен уметь ответить за свои поступки. Лично для меня это условие важно. Я не могу быть рядом с теми, кого есть за что презирать. Я хочу уважать всех и каждого. Если для большинства это имеет такое же значение, значит, всё в порядке. Двое обязаны подчиниться большинству. Даже если они не чувствуют раскаяния.

Но они могут себя противопоставить и уйти из клуба. Такой шаг предусмотрен. Они могут также нахально оставаться в клубе, делая вид, что ничего не произошло. И ждать, когда я сам уйду и заявлю на них. Этого не будет. Если большинство, будет пассивно наблюдать, к чему приведёт моё столкновение с двумя, я уйду из клуба. И никогда никому не скажу, что меня заставило уйти. Даю в этом честное слово. Если Максим и Лёвка хотят этим словом воспользоваться – это их личное дело.

Я волновался, но от этого сила слов только выиграла. Никогда – ни до, ни после этого – я не видел у ребят таких сосредоточенных лиц, таких серьёзных глаз. Все молчали. Потом Лёвка огрел меня тяжёлым взглядом и выбежал из клуба. Все стали свободнее дышать, но разговор не вязался. Условились, что каждый подумает, встретимся завтра в это же время и примем общее решение.

Мы распрощались, и я пошёл домой. За углом меня уже караулили Рогуля, ещё двое лбов и Лёвка. Такое развитие событий мне следовало предусмотреть...

На другой день я выглядел, конечно, безобразно. Но шпана добилась не того эффекта, какого ожидала. Лёвка окончательно упал в глазах ребят, и мне пришлось даже заниматься его оправданием.

Нечто очень похожее пережил не один двор. Кого-то сажают, а другие берутся за ум. Происшедшее действует как оздоравливающее моральное потрясение. Описываемая ситуация имела существенное отличие – никто не был осуждён. Клуб обратился с ходатайством передать обвиняемых на поруки коллективу. Это был рискованный шаг, но он себя оправдал. Не последнюю роль сыграли родители ребят. Это им принадлежит проект окончательного решения.

Я с нетерпением ждал решающего собрания. Это было вполне естественное стремление убедиться в результативности и универсальности макаренковского метода. До назначенного времени оставалось минут пять. И тут на пороге клуба появились незапланированные посетители. Один за другим входили отцы подростков.

Ну разве это не результат, спросил я себя.

– Я страшно боялся за Славика, а теперь спокоен, – шепнул мне Аникин-старший.

– Мой охламон тебя зауважал, – проворчал отец Севочки,

А это – разве не результат?

Как место и способ общения улица – самая естественная сфера детской жизни. Правомерно ли вторжение в неё? Этично ли? Целесообразно ли как способ распознавания, чем дышит та или, иная уличная компания?

Если да, то это тоже – результат.

– Мы посоветовались в своём кругу, – показал глазами на отцов Аникин-старший, – и решили сделать так. Педагог-воспитатель должен остаться в любом случае. У нас хоть душа на месте будет. Максиму и Лёве надо повиниться, а нам – помочь им. Дело это не простое, в нём замешаны другие, которых наши дети, естественно, боятся... Ещё сыны наши решили заработать деньги и помочь своим друзьям возместить ущерб. Максим с Лёвой, правда, против, но это они так – для порядка... Что касается Рогули или как его там, то этого типа мы сами назовём, всей отцовской делегацией, когда придём в милицию. Так что мести можно не опасаться. А пойдём мы в милицию сразу после этого собрания.

Было в этом решении нечто такое, что заставляло меня думать о ребятах не слишком хорошо. Этакая умственная ловкость, стремление загордиться посредниками, нежелание запятнать себя донесением. Но не будем забывать, что со времени «взрыва» прошло всего два дня.

Это всего лишь первый шаг, правда решающий, в борьбе за этих ребят. Но и каждый последующий шаг требует от воспитателя полной самоотдачи, стремления понять ребят, постоянного анализа своих действий. И если я хоть в какой-то мере помог читателям проникнуть во внутренний мир подростка, увлекаемого стихией улицы, смог осмыслить свой путь борьбы за этих ребят, то смею надеяться, что свою задачу выполнил.

СОДЕРЖАНИЕ

ИСПОВЕДЬ	1
СВОЙ СРЕДИ СВОИХ	71
ВЗРОСЛЫЕ ИГРЫ	133
НАЗНАЧАЮ «ВЗРЫВ»	145

Оцифровано для страницы
Педагогического музея А.С. Макаренко
(Makarenko-museum.ru)

Нумерация страниц и разбиение текста по ним
с точностью до 1-2 слов на границах страниц
соответствует бумажному изданию

Учебное издание

Ерёмин Виталий Аркадьевич

УЛИЦА – ПОДРОСТОК – ВОСПИТАТЕЛЬ

Зав. редакцией Н. П. Семькин

Редактор М. Д. Соловьёва

Младший редактор Ю. В. Иконникова

Художник О. Л. Несмеянов

Художественный редактор Ю. В. Пахомов

Технические редакторы И. С. Басс, О. И. Назаровская

Корректоры Г. Я. Мосякина, И. Н. Панкова

ИБ № 12864

Сдано в набор 27.12.90. Подписано к печати 09.07.91. Формат 84×108¹/₃₂. Бумага газетная. Гарнитура Литературная. Печать высокая. Усл. печ. л. 8,4. Усл. кр.-отг. 8,61. Уч.-изд. л. 9,02. Тираж 100 000 экз. Заказ 1130. Цена 65 к.

Ордена Трудового Красного Знамени издательство «Просвещение» Министерства печати и массовой информации РСФСР. 129846, Москва, 3-й проезд Марьиной рощи, 41.

Областная типография управления печати и массовой информации Ивановского облисполкома. 153628, г. Иваново, ул. Типографская, 6.

65 К

